

Брет-Тарт

P35.759

СЧАСТЬЕ  
РЕВУЩЕГО  
СТАНА



Гослитиздат

1945





---

---

Брет-Гарт  
Счастье  
ревущего  
стана  
и  
Другие  
рассказы

ВОЛОГОДСКАЯ  
ОБЛАСТНАЯ  
БИБЛИОТЕКА

Перевод с английского под редакцией А. Старцева

ВОЛОГОДСКАЯ  
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ  
Обл. Библиотека

О Р И З

Государственное издательство  
художественной литературы  
Москва 1945

---

---

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Американский писатель Брет Гарт (1836—1902) известен своими рассказами из жизни золотоискателей в Калифорнии. События, связанные с открытием и эксплуатацией калифорнийского золота, образуют очень колоритный эпизод в истории Соединённых Штатов Америки.

Золото было открыто в Калифорнии в начале 1848 года. Как только сведения об этом распространились, вся страна была потрясена сильнейшим приступом «золотой лихорадки». Десятки тысяч людей разных социальных слоёв и профессий приняли решение немедленно отправиться за золотом. «Ремесленники бросили свои инструменты, фермеры оставили урожай гнить на полях, учителя забыли свои учебники, адвокаты покинули клиентов, служители церкви сбросили священнические облачения, матросы дезертировали с кораблей — и все устремились в едином порыве к месту золотых приисков...» — так описывает «золотой поход» 1849 года американский историк Бирд. Преодолевая громадные трудности пути, оставляя за собой ослабевших и мёртвых, сто тысяч человек провалилось в этот год в Калифорнию. Калифорния была только что присоединена Соединёнными Штатами в результате войны с Мексикой и почти не населена. Первое время «старатели» были безраздельными хозяевами золотоносной земли. Государственная власть фактически отсутствовала, и каждый был волен действовать на собственный страх и риск. Первоначальной формой заявки была прибитая к дереву доска, на которой было обозна-

чено имя владельца, сопровождавшееся угрозой расправиться со всяким, кто посягнёт на участок. Позже в золотоискательских станах и посёлках возникло самоуправление поселенцев, служившее главной формой власти в Калифорнии в течение первых бурных лет «золотой лихорадки». Для характеристики этой «старательской» демократии следует указать, что выработанные «старателями» кодексы владения и пользования приисками недружелюбно относились к применению наёмного труда, предоставлявшего преимущество богатому человеку, и безусловно воспрещали применять на приисках рабский труд.

Такое положение просуществовало недолго. Перемена была неизбежна. Добывая золото из земли, «старатели» развязывали производительные силы капитализма с такой быстротой, что не успели оглянуться, как были оттеснены крупными предпринимательскими компаниями. Золотодобыча сделалась отраслью капиталистической промышленности, и легендарная «старательская Калифорния» стала уходить в прошлое.

Для писателя-современника этот материал должен был представить тоже своего рода золотую россыпь. Действительно, когда Брет Гарт написал свои знаменитые рассказы, он оказался сразу самым популярным писателем в стране, и слава о нём донеслась до Европы.

Нужно указать, что в конце 60-х годов прошлого столетия, когда Брет Гарт печатал свои рассказы, «старательская» эпопея шла к своему концу. Калифорнийское золото добывалось с помощью сложных механизмов, обслуживаемых наёмными рабочими, и никто уже не направлялся в Сан-Франциско «с киркою и ковшом» в надежде открыть несметные сокровища. Писатель прекрасно видел происходящие изменения. На обложке журнала «Оверланд Монсли», который Брет Гарт издавал в Сан-Франциско, он изобразил эмблему штата Калифорния — медведя-грizzly, но с характерным нововведением: медведь стоял, недоуменно озираясь, на железнодорожном полотне.

Однако интерес и сочувствие Брета Гарта были накрепко прикованы к тем недолгим годам, когда «старательская» вольница трудилась и бушевала в Ревущих Станах, не зная над собой ярма капитала.

Брет Гарт не был человеком из народа, подобно своим замечательным современникам Марку Твену и Уолту Уитмену. Когда он в зените славы приехал из Калифорнии в Бостон, его поклонники ожидали встретить «старателя» в красной фланелевой рубашке и с револьвером у пояса и были удивлены и отчасти разочарованы, увидев болезненного, одетого в сюртук интеллигента.

Брет Гарт был наблюдателем жизни, которую описывал, но он был вдумчивым и чутким наблюдателем.

Рассказы Брета Гарта обычно считаются парадоксальными, то есть основанными на странности или преувеличении. Характеристику обитателей «старательского» посёлка в рассказе «Счастье Ревущего Стана» писатель строит таким образом: «У самого отъявленного мошенника было рафаэлевское лицо с копной белокурых волос. Игрок Окхэрт меланхолическим видом и отрешённостью от всего земного походил на Гамлета; самый хладнокровный и храбрый из них был мал ростом, говорил робким голосом и держался скромно и застенчиво».

Это описание может показаться искусственным, театральным, однако цель его, как и других подобных описаний у Брета Гарта, — внушить читателю мысль, что внешнее представление о жизни, с которой его знакомят, может не соответствовать её истинному содержанию. И вот читатель видит, что, странным образом, рассказы, посвящённые изображению людей, устремлённых как будто к личному обогащению во что бы то ни стало, имеют своей центральной темой самопожертвование, бескорыстную дружбу, забвение своих интересов ради чужих.

Эта тема разрабатывается писателем в «Счастье Ревущего Стана», «Компаньоне Тенесси», «Изгнанниках Покер-Флета» и других основных рассказах «старательского» цикла. Есть ли в этом странность? Мы думаем, что

странности тут нет. Представление о золотоискателях, о «старательском» люде как о банде алчных разбойников заимствовано из дурных приключенческих романов. Нужно различать авантюристов и честных работников, которых в массе калифорнийских «старателей» было, конечно, большинство. Историки указывают, что состояния, нажитые в Калифорнии в годы «золотой лихорадки», составлялись вовсе не «старательством», а гораздо более прозаичными занятиями, как-то: спекуляцией земельными участками и предметами первой необходимости. Когда же капитал прибрал к своим рукам калифорнийское золото, «старатель» оказался очень близок к положению эксплуатируемого рабочего и ремесленника. Таким образом нужно отдать честь чутью Брета Гарта, сумевшего разглядеть сквозь живописную и зловещую игру контрастов золотоискательской эпопеи существенные черты народной жизни и изобразить их в рассказах, полных юмора и поэзии.

Первыми, кто приветствовал рассказы Брета Гарта, были передовые европейские писатели—Диккенс в Англии, сосланный Чернышевский в России.

Брет Гарт сложился как писатель под сильным влиянием Диккенса. Первые рассказы Брета Гарта, которые Диккенс успел прочитать незадолго до смерти, произвели на него большое впечатление. Форстер, друг и биограф Диккенса, рассказывает, что Диккенс нашёл в рассказах молодого американца «такую проникновенность в обрисовке характера, какую ему давно уже не приходилось встречать. Манера автора напоминала его собственную, но материал отличался поразившей его исключительной новизной, изображение было во всех отношениях мастерским. Из дикой, грубой жизни было рождено правдивое художественное создание».

«Сила Брета Гарта в том, — говорит Чернышевский, — что он, при всех своих недостатках, человек с очень могущественным природным умом, человек необыкновенно благородной души, и — насколько при недостаточности запаса своих впечатлений и размышлений, пони-

мает вещи — выработал себе очень благородное понятие о вещах».

Замечание Чернышевского о недостаточности «запаса впечатлений и размышлений» Брета Гарта справедливо, и во многом объясняет несчастливую судьбу писателя. Те, кто знаком с творчеством Брета Гарта, знают, что он является автором не только сильных и оригинальных рассказов, вызвавших похвалы Диккенса и Чернышевского, но также некоторого числа бледных и малосодержательных произведений, в которых он переживает самого себя.

Когда впечатление, произведённое золотоискательским циклом рассказов Брета Гарта, ослабело, он пытался закрепить свою славу новыми обширными литературными замыслами. Однако реализовать их в значительных произведениях ему не удалось: поэт замкнутого мирка «старательской Калифорнии», он чувствовал себя нетвердо вне привычных творческих интересов.

Подстёгиваемый нуждой, Брет Гарт напечатал несколько малоудачных вещей, и критика высказала сомнение в серьёзности его дарования. Репутация писателя была подорвана, а вместе с ней ушла и вера в себя. Он уехал в Европу и жил до самой смерти в Англии добровольным изгнанником. За двадцать лет пребывания в Англии он написал множество повестей и рассказов. В этих произведениях действуют старые герои Брета Гарта, но только в редких случаях писателю удаётся вдохнуть в них жизнь, одушевляющую знаменитый золотоискательский цикл.

Лучшие рассказы Брета Гарта принадлежат к классическим произведениям американской литературы. Советский читатель прочитает их с интересом.



## СЧАСТЬЕ РЕВУЩЕГО СТАНА

**В** Ревущем Стане царило смятение. Оно не могло быть вызвано дракой: в 1850 году драка вовсе не представляла собой такой редкости, чтобы на неё сбегался весь посёлок. Обезлюдели не только канавы и заявки, пустовала даже лавчонка Татла. Игроки оставили её, — те самые игроки, которые, как все мы помним, преспокойно продолжали игру и в тот день, когда француз Пит и канак Джо уложили друг друга наповал у стойки в передней комнате. Весь лагерь собрался около убогой хижины на краю расчищенного участка. Разговор вёлся вполголоса, причём часто упоминалось женское имя. Имя это — Чероки-Сэл — хорошо знали в лагере.

Пожалуй, чем меньше рассказывать о ней, тем лучше. Это была грубая и, боюсь, очень грешная женщина, но других женщин в Ревущем Стане не было. Сейчас она находилась в том тяжёлом положении, когда нужнее всего для неё был бы уход существа одного с ней пола. Беспутная, безвозвратно погрязшая в пороке, она лежала в муках, которые трудно переносить, даже если их облегчает женское сострадание, и которые усугубляло сейчас её полное одиночество. Проклятие, произнесённое ещё над нашей праmaterью, настигло Чероки-

Сэл совсем одну, и это делало кару за первородный грех ещё более страшной. И, может быть, искупление заключалось отчасти в том, что в минуту, когда ей особенно недоставало женской нежности и заботы, она видела вокруг себя только презрительные лица своих сотоварищей мужчин. И всё же, мне думается, что кое-кого из зрителей трогали её страдания. Сэнди Типтон сказал:— Плохо Сэл приходится!— и, задумавшись над её положением, на минуту даже пренебрёг тем обстоятельством, что в рукаве у него были припрятаны туз и два козыря.

Случай был действительно из ряда вон выходящий. Смерть считалась в Ревущем Стане делом самым обыкновенным, но рождение было там в новинку. Людей убирали из посёлка всерьёз, окончательно захлопывая за ними дверь, но никто и никогда ещё не появлялся там *ab initio*<sup>1</sup>. Отсюда и всеобщее волнение.

— Ты бы зашёл туда, Стампи, — сказал, обращаясь к одному из зевак, некий почтенный обитатель посёлка, известный под именем Кентукки. — Зайди посмотри, может, помочь нужно. Ты ведь смыслишь в этих делах.

Выбор был не лишён остроумия. В других палестинах Стампи считался главой двух семейств; в сущности говоря, Ревущий Стан — прибежище отверженных — был обязан обществом Стампи небольшому конфликту юридического характера, связанному с его семейными обстоятельствами. Толпа одобрила выбор, и у Стампи хватило благоразумия подчиниться воле большинства. Дверь за скороспелым хирургом и акушером закрылась, Ревущий Стан расселся вокруг хижины, закурил трубки и стал ждать событий.

---

<sup>1</sup> *Ab initio* — сначала (лат.).

Собравшихся было не менее ста человек. Один-двое из них на самом деле скрывались от правосудия; имелись здесь и профессиональные преступники, а все они, вместе взятые, были отчаянным народом. По внешности этих людей никак нельзя было судить о их прошлом или о их характерах. У самого отъявленного мошенника было рафаэлевское лицо с копной белокурых волос. Игрок Окхэрст меланхолическим видом и отрешённостью от всего земного походил на Гамлета; самый хладнокровный и храбрый из них был мал ростом, говорил робким голосом и держался скромно и застенчиво. Прозвище «головорезы» служило для них скорее характеристикой, чем осуждением.

Возможно, у Ревущего Стана был недочёт в таких пустяках, как уши, зубы, пальцы на руках и ногах, но эти мелкие дефекты не отражались на его коллективной силе. У местного силача на правой руке было всего три пальца; у самого меткого стрелка нехватало одного глаза.

Такова была внешность людей, расположившихся вокруг хижины. Посёлок лежал в треугольной долине между двумя холмами и рекой. Выйти из него можно было только по крутой тропе, поднимавшейся на вершину холма прямо против хижины, озарённой сейчас восходящей луной. Страждущая женщина, наверное, видела со своей жёсткой постели эту тропу, — видела, как она вьётся серебряной нитью и исчезает среди звёзд.

Костёр из сухих сосновых ветвей помог собравшимся разговориться. Мало-помалу вернулось и обычное легкомыслие Ревущего Стана. Предлагались и охотно принимались пари относительно исхода события. Три против пяти, что Сэл «выкарабкается» и что даже ребёнок оста-

нется жив; добавочное пари — относительно цвета кожи и пола ожидаемого пришельца. Посреди оживлённых споров в группе, сидевшей поближе к дверям, послышалось восклицание, посёлок смолк и прислушался. Заглушая стоны качавшихся на ветру сосен, торопливое журчанье реки и потрескивание костра, раздался пронзительный, жалобный крик, — крик, подобного которому в посёлке ещё не слышали. Сосны перестали стонать, река смолкла, костёр затих. словно вся природа замерла и тоже прислушивалась.

Все, как один, вскочили на ноги. Кто-то предложил взорвать бочонок с порохом, но, вспомнив о положении матери, присутствующие вняли голосу благоразумия и ограничились несколькими выстрелами из револьверов: дело в том, что вследствие ли несовершенства местной хирургии, или каких-либо других причин, но жизнь Чероки-Сэл быстро угасала. За какой-нибудь час она поднялась по неровной тропе к звёздам и навсегда покинула Ревущий Стан с его грехом и позором.

Вряд ли весть эта могла хоть сколько-нибудь потревожить посёлок, разве только он задумался о судьбе ребёнка. — А выживет он теперь? — спросили у Стампи. Ответ был неуверенный. Единственным в посёлке существом одного пола с Чероки-Сэл, вдобавок находившимся в том же положении, была ослица. Послышались кое-какие доводы, опровергающие пригодность ослицы, но решили попробовать. Это было менее проблематично, чем исход древнего эксперимента с Ромулом и Ремом<sup>1</sup>, и, повидимому, могло сулить не меньший успех.

---

<sup>1</sup> *Ромул и Рем* — легендарные основатели Рима, вскормлённые, по преданию, волчицей.

После обсуждения деталей, занявшего ещё час, дверь открылась, и любопытствующие мужчины, которые уже выстроились в очередь, один за другим вошли в хижину. Рядом с низкой койкой или скамьёй, на которой под одеялом резко проступали очертания тела умершей матери, стоял сосновый стол. На столе был поставлен ящик из-под свечей, и в нём, закутанный в ярко-красную фланель, покоился новый житель Ревущего Стана. Рядом с ящиком лежала шляпа. Назначение её вскоре выяснилось.

— Джентльмены, — сказал Стампи, *ex officio*<sup>1</sup> своеобразно сочетая в тоне голоса властность и благодушие, — джентльмены благоволят войги через переднюю дверь, обогнуть стол и выйти через заднюю. Кто захочет пожертвовать сколько-нибудь в пользу сироты, обратите внимание на шляпу.

Первый из очереди, войдя в хижину и осмотревшись, обнажил голову, бессознательно подав пример следующим. В подобном обществе хорошие и дурные поступки заразительны.

По мере того как зрители гуськом входили в хижину, слышались критические замечания, иногда по адресу Стампи, который выступал в роли распорядителя.

— Вон он какой!

— Мелковат!

— На мать только цветом кожи и похож.

— Не больше пистолета.

Дары были не менее характерны: серебряная табакерка, дублон, револьвер флотского образца с серебряной насечкой, золотой самородок, изящно вышитый дамский носовой платок (от игрока Окхэрста), булавка с бриллиантом,

---

<sup>1</sup> *Ex officio* — по должности (лат.).

бриллиантовое кольцо (последовавшее вслед за булавкой, причём жертвователю не преминуло заметить, что он выкладывает двумя бриллиантами больше), праща, библия (кто её положил, выяснить не удалось), золотая шпора, серебряная чайная ложка (к сожалению, должен отметить, что монограмма на ложке не соответствовала инициалам жертвователя), хирургические ножницы, ланцет, английский банкнот достоинством в пять фунтов и долларов двести золотой и серебряной монетой.

Во время этой процедуры Стампи хранил такое же бесстрастное молчание, как и труп, лежавший налево от него, такую же непроницаемую серьёзность, как и новорождённый, лежавший направо. Только один случай нарушил однообразие этой странной процессии. Когда Кентукки с любопытством заглянул в свечной ящик, ребёнок повернулся и, вероятно под влиянием боли, схватил его за палец и секунду не выпускал из рук. Кентукки стоял с глуповатым и смущённым видом. Что-то вроде румянца появилось на его обветренных щеках.

— Ах ты, чертёнок проклятый, — сказал он и высвободил палец таким нежным и осторожным движением, какого от него трудно было ожидать. Выходя из хижины, он оттопырил этот палец и с любопытством обследовал его. Обследование вызвало то же замечание по адресу ребёнка. Кентукки как будто доставляло удовольствие повторять эти слова. — Ухватил меня за палец, — сказал он Сэнди Типгону. — Ах ты, чертёнок проклятый!

Только в пятом часу утра посёлок отправился на покой. В хижине, где остались бодрствовать несколько человек, горел свет; Стампи в эту ночь не ложился. Не спал и Кентукки. Он много

пил и со вкусом рассказывал о происшествии, неизменно заключая свой рассказ проклятием по адресу нового пришельца. Оно как будто оберегало его от несправедливых обвинений в чувствительности, а Кентукки был не свободен от слабостей своего пола. Когда остальные улеглись спать, Кентукки, задумчиво посвистывая, сошёл к реке. Потом поднялся по ущелью мимо хижины, всё ещё посвистывая с нарочитой беззаботностью. Поровнявшись с гигантской секвойей, он остановился, повернул назад и снова прошёл мимо хижины. На полпути к берегу он опять остановился, потом повернул обратно и постучал в дверь. Ему открыл Стампи.

— Ну, как дела? — сказал Кентукки, глядя мимо Стампи на ящик из-под свечей.

— Всё спокойно, — ответил Стампи.

— Ничего нового?

— Ничего.

Наступило молчание — довольно неловкое; Стампи всё ещё придерживал дверь. Тогда Кентукки прибег к помощи своего пальца и протянул его Стампи.

— Ведь ухватил меня за палец, чертёнок проклятый! — сказал он и удалился.

На следующий день Ревущий Стан устроил Чероки-Сэл весьма примитивные похороны. После того как её тело было погребено на склоне холма, весь посёлок собрался на обсуждение вопроса, что делать с ребёнком. Решение усыновить его было принято единогласно и с большим воодушевлением. Однако сейчас же разгорелись оживлённые споры относительно способов и возможностей удовлетворить его потребности. Интересно, что в прениях совершенно не было слышно ядовитых личных намёков и грубостей, без чего раньше не обходилась ни одна сходка

в Ревущем Стане. Типтон предложил отправить ребёнка в посёлок Рыжей Собаки — за сорок миль, — там можно поручить его женской заботе. Но это бесславное предложение встретили единодушными и яростными протестами. Было ясно, что участники сходки не примут ни одного плана, который включает разлуку с их новым приобретением.

— Уж не говоря о том, — сказал Райдер, — что этот сброд в Рыжей Собаке наверняка подменит его и потом всучит нам другого.

Сомнение в порядочности своих соседей было так же распространено в Ревущем Стане, как и всюду. Мысль допустить в лагерь кормилицу тоже была встречена неодобрительно. Доводом служило предположение, что ни одна порядочная женщина не согласится переехать в Ревущий Стан, «а другого сорта нам не нужно, — заявил оратор, — хватит!» Это напоминание о покойнице-матери, хотя оно может показаться и весьма суровым, было первым порывом благопристойности — первым признаком морального возрождения Ревущего Стана. Стампи молчал. Возможно, что чувство деликатности не позволяло ему вмешиваться в выборы своего заместителя по должности. Но когда к нему обратились с вопросом, Стампи храбро заявил, что он и Джинни — млекопитающее, о котором упоминалось выше, — как-нибудь вырастят ребёнка. В его плане были оригинальность, независимость и героизм, пленившие посёлок. Стампи остался на своём посту. В Сакраменто послали сделать кое-какие закупки.

— Смотри, — сказал казначей, вручая курьеру мешок с золотым песком, — брать всё самое лучшее, чтобы там с кружевом, с вышивкой, с рюшками — плевать на расходы!



Как это ни странно, но ребёнок процветал. Может быть, живительный горный климат посёлка возмещал ему материальные лишения. Природа приняла найдёныша на свою могучую грудь. В прекрасном воздухе Сиерры, воздухе, полном бальзамических ароматов, в этом лёгком напитке, бодрящем и укрепляющем, он нашёл для себя пищу или, может быть, некое вещество, которое превращало молоко ослицы в известь и фосфор. Стампи склонялся к убеждению, что всё дело в молоке и в хорошем уходе.

— Я да ослица, — говорил он, — мы для него всё равно, что отец да мать! Не вздумай, — добавлял обычно Стампи, обращаясь к беспомощному комочку, — не вздумай когда-нибудь ополчиться на нас.

Когда ребёнку исполнился месяц, необходимость дать ему какое-нибудь имя стала совершенно очевидной. Обычно его называли «Малышом», «Мальчишкой Стампи», «Койотом» (имелись в виду его голосовые данные) и даже применяли ласкательное прозвище, изобретённое Кентукки: «Чертёнок проклятый». Но всё это казалось неопределённым и недостаточным и, наконец, было отброшено под влиянием некоторых обстоятельств.

Игроки и авантюристы обычно суеверны, и в один прекрасный день игрок Окхэрст заявил, что младенец принёс Ревущему Стану счастье. Действительно, за последнее время жителям его здорово везло. Решили назвать ребёнка «Счастьем», для большого удобства присовокупив к этому прозвищу имя Томми. О матери его при этом никто не упомянул, а отец был неизвестен.

— Так будет лучше, — сказал философски настроенный Окхэрст, — начнём новый кон. На-

зовём его «Счастьем», и пусть себе живёт да поживает.

Выбрали день для крестин. Читатель, имеющий уже некоторое понятие о нечестивой бесшабашности Ревущего Стана, сможет вообразить, что должна была представлять собою эта церемония. Заправилой был избран некто Бостон, известный остряк, и процедура эта обещала всем великолепное развлечение. Изобретательный сатирик потратил два дня на изготовление пародии на церковный обряд, снабдив её шуточками, имеющими чисто местное значение. Обучили хор, роль крёстного отца предназначили Сэнди Типтону. Но когда процессия со знамёнами и музыкой проследовала к роще и ребёнка положили у подобия алтаря, перед насторожившейся толпой предстал Стампи.

— Не в моих обычаях портить веселье, друзья,— сказал этот маленький человек, решительно поглядывая на присутствующих, — но, сдаётся мне, мы поступаем не по-честному. Навязываем мальчишке комедию, в которой он ничего не смыслит. А уж если здесь и крёстный отец намечается, то хотел бы я знать, у кого на это больше прав, чем у меня! — Слова Стампи были встречены молчанием. К чести всех юмористов следует сказать, что первым, кто признал справедливость этих слов, был сам автор спектакля, хотя таким образом он лишился удовольствия. — Однако, — сказал Стампи, быстро воспользовавшись выгодой своего положения, — мы собрались на крестины, и крестины состоятся. Согласно законам Соединённых Штатов и штата Калифорнии и с помощью божией нарекаю тебя Томасом-Счастьем.

Первый раз имя божие произносилось в посылке без кощунства. Обряд крещения был на-

столько нелеп, что вряд ли даже сам сатирик мог придумать что-нибудь подобное. Но, как ни странно, никто этого не замечал, никто не смеялся. Томми был окрещён с полной серьёзностью, как будто обряд происходил под кровом церкви; он плакал, и его утешали по христианскому обычаю.

Так началось возрождение Ревущего Стана. Перемены совершались почти незаметно. Прежде всего преобразилась хижина, где поселился Томми-Счастье, или просто Счастье, как его чаще звали. Её вычистили, как стёклышко, и побелили. Потом настлали пол, повесили занавески, оклеили стены обоями. Колыбель палисандрового дерева, которую везли восемьдесят миль на спине мула, по выражению «Стампи, «забила всю остальную мебель». Поэтому понадобилось поддерживать честь прочей обстановки. Посетители, заходившие к Стампи наведываться, «как идут дела у Счастья», относились к этим переменам одобрительно, и конкурирующее заведение, лавочка Татла, раскачалась и в целях самозащиты импортировала ковёр и зеркала. Отражения, появлявшиеся в этих зеркалах, привили Ревущему Стану более строгие понятия о чистоплотности. Кроме того, Стампи подвергал чему-то вроде карантина тех лиц, которые домогались чести и привилегий подержать Счастье на руках. Лишение этой привилегии, вызванное доводами весьма разумного \*порядка, глубоко уязвляло Кентукки, который со свойственной широким натурам небрежностью и в силу привычек бродячей жизни смотрел на одежду как на вторую кожу, которая, точно у змеи, должна истлеть, чтобы человек от неё избавился. Но таково было неуловимое влияние всех этих новшеств, что впоследствии он каждый день появ-

лялся в чистой рубашке и с лицом, лоснящимся от омовений. Не пренебрегали и моралью и законами общежития. Томми, вся жизнь которого, по общему мнению, проходила в непрерывных попытках отойти ко сну, должен был наслаждаться тишиной. Крики и вопли, благодаря которым посёлок получил свое злосчастное прозвище, вблизи хижины запрещались. Люди говорили шопотом или курили с важностью индейцев. По молчаливому соглашению, кощунство было изгнано из этих священных пределов, а такие общеупотребительные выражения, как «Вот проклятое счастье!» или «Пропади оно пропадом, это счастье!», совсем не употреблялись в посёлке, так как в них теперь звучал намёк на определённую личность. Вокальная музыка не возбуждалась, ибо ей приписывали смягчающее и успокаивающее действие; а одна песенка, исполнявшаяся Джеком-Матросом, английским моряком из австралийских владений её величества, пользовалась особенной популярностью в качестве колыбельной. Это была мрачная повесть о семидесятичетырёхпушечном корабле «Аретуза», распевавшаяся в унылом миноре; каждый куплет её заканчивался протяжным, замирающим припевом: «На борту-у-у «Арету-у-зы». Надо было видеть это зрелище, когда Джек держал Счастье на руках и, покачиваясь из стороны в сторону, словно в такт движения корабля, напевал свою матросскую песенку. То ли от мерного покачивания Джека, то ли от длины песни, в ней было девяносто куплетов, которые Джек добросовестно допевал до грустного конца, но колыбельная всегда производила желательное действие. В эти минуты обитатели посёлка обычно лежали, растянувшись во весь рост под деревьями, и покуривали трубки, вку-

шая эти песнопения в мягких летних сумерках. Неясное ощущение идиллического счастья бродило по посёлку.

— Прямо как в раю, — говорил англичанин Симмонс, задумчиво подпирая голову рукой. Это напоминало ему Гринвич.

В длинные летние дни Счастье уносили к ущелью, где Ревущий Стан пополнял свои золотые запасы. Там он лежал на одеяле, постелённом поверх сосновых веток, а внизу в канавах шла работа. Потом кое-кто стал делать неуклюжие попытки убрать это уединённое местечко цветами и душистыми ветками; обычно кто-нибудь приносил Томми дикую жимолость, азалии, яркие лилии. Жителям посёлка вдруг открылась красота и смысл тех пустыков, которые они столько лет равнодушно попирали ногами. Пластика блестящей слюды, кусочки разноцветного кварца, яркий камешек со дна реки обрели красоту для прояснившихся, тверже смотревших глаз и приберегались для Счастья. Просто чудо, сколько сокровищ давали леса и горные склоны, — сокровищ, которые были «в самый раз для Томми». Надо полагать, что Томми, окружённый игрушками, не виданными даже в волшебной стране, был доволен. Он казался безмятежно счастливым, хотя ребяческая важность и задумчивый взгляд его круглых глаз по временам тревожили Стампи. Томми был послушным, тихим ребёнком; рассказывали, что однажды, выбравшись за пределы своего корраля — изгороди из перевитых сосновых веток, окружавшей постель, — он скатился вниз по откосу, ткнулся головой в мягкую землю и пробыл в таком положении добрых пять минут, с невозмутимой серьёзностью задрал ноги кверху. Когда его подняли, он даже не пискнул. Я не решаюсь

приводить здесь многие другие доказательства его ума, которые основываются только на пристрастных свидетельствах друзей Томми. Часть этих рассказов не свободна от некоторого привкуса суеверия.

— Лезу я сейчас вверх по берегу, — рассказывал как-то Кентукки, еле переводя дух от восторга, — и — вот провалиться мне на этом месте — сидит у него на коленях сойка, и он с ней разговаривает. Болтают за милую душу, воркуют, что твои херувимчики!.

Как бы там ни было, но, выбирался ли Томми за ограду из сосновых ветвей, лежал ли безмятежно на спине, глядя на листья над головой, — ему пели птицы, для него трещала белка, для него распускались цветы. Природа была его нянькой, товарищем его игр. Ему она протягивала сквозь ветви золотые солнечные стрелы, падавшие около его ладоней; ему слала лёгкий ветерок, приносивший с собой запах лавра и смолы; для него дружески и словно в дремоте покачивали вершинами высокие деревья, жужжали шмели, и грачи вторили всему этому, навеяная на него сон.

Такова была золотая пора Ревущего Стана, «горячая пора», как её называли, — счастье играло им в руку. Заявки давали уйму золота. Посёлок ревниво оберегал свои права и подозрительно посматривал на чужаков. Иммиграция не поощрялась, и, чтобы ещё более замкнуться от постороннего мира, жители Ревущего Стана закрепили за собой участки по обе стороны гор, стеной окружавших посёлок. Это обстоятельство плюс репутация, которую заслужил Ревущий Стан благодаря своему искусству обращаться с огнестрельным оружием, сохраняли нерушимость его границ. Курьер — единственное

звено, соединявшее их с окружающим миром,— нередко рассказывал о лагере чудеса. Он говорил:

— Там, в Ревущем, провели такую улицу, которая любую в Рыжей Собаке посрамит. Вокруг домов у них насажены цветы, дикий виноград, они моются по два раза на дню. Но чужаку туда лучше носа не показывать. Кроме того, они поклоняются индейскому мальчишке.

Вместе с процветанием появилась и потребность в дальнейших усовершенствованиях. Было предложено выстроить следующей весной гостиницу и пригласить на постоянное жительство два-три почтенных семейства с расчётом, что Счастью пойдёт на пользу женское общество. Уступку в отношении прекрасного пола, сделанную этими людьми, весьма скептически взиравшими на добродетели и полезность его представительниц, можно объяснить только их любовью к Томми. Кое-кто восставал против такой жертвы. Но план этот нельзя было провести в жизнь раньше, чем через три месяца, и меньшинство покорилося в надежде, что какие-нибудь неожиданные обстоятельства помешают осуществлению задуманного. Так оно и вышло.

Зима 1851 года долго будет памятна у подножия этих гор. На Сиерре лежал глубокий снег, и каждый горный ручеёк превратился тогда в реку, каждая река — в озеро. Ущелья наполнились бурными потоками, которые неслись по склонам гор, выдирая с корнем громадные деревья, разнося обломки и камни по всей долине. Рыжую Собаку заливало уже дважды, и Ревущий Стан получил предостережение.

— Вода приносит золото в ущелья, — сказал Стампи. — Один раз так уж было и ещё раз будет! — И в эту ночь Норт-Форк вдруг вышла

из берегов и разлилась по всему треугольнику Ревущего Стана.

В хаосе ринувшихся на лагерь потоков, падающих деревьев и тьмы, которая словно неслась вместе с водой и заливала прекрасную долину, трудно было найти хоть что-нибудь от разрушенного посёлка. Когда наступило утро, хижины Стампи, ближайшей к реке, на месте не было. Выше, по ущелью, нашли труп её незадачливого хозяина; но гордость, надежда, радость, Счастье Ревущего Стана исчезло. Люди, искавшие его, возвращались с тяжёлым сердцем, как вдруг кто-то окликнул их с берега. Окрик шёл со спасательной лодки, плывшей вниз по реке. Она подобрала обессиленного мужчину и ребёнка в двух милях от посёлка. Кто-нибудь знает их, они здешние?

Достаточно было одного взгляда, чтобы узнать Кентукки, обезображенного, искалеченного, но всё ещё прижимающего к груди Счастье Ревущего Стана. Нагнувшись над этой странной парой, они увидели, что ребёнок уже похолодел и пульс у него не бьётся.

— Он умер, — сказал кто-то.

Кентукки открыл глаза.

— Умер? — переспросил он слабым голосом.

— Да, дружище, и ты тоже умираешь.

Улыбка промелькнула в угасающих глазах Кентукки.

— Умираю! — повторил он. — Он берёт меня с собой. Скажите всем, что Счастье теперь не оставит меня.

И сильного человека, хватающегося за хрупкое тело ребёнка, как утопающий, говорят, хватается за соломинку, унесла призрачная река, которая вечно катит свои волны в неведомое море.



## ИЗГНАННИКИ ПОКЕР-ФЛЕТА

Когда мистер Джон Окхэрст, по профессии игрок, вышел на улицу Покер-Флета утром 23 ноября 1850 года, он почувствовал, что со вчерашнего вечера моральная атмосфера посёлка изменилась. Двое-трое мужчин, оживлённо беседовавших между собой, замолчали, когда он подошёл ближе, и обменялись многозначительными взглядами. В воздухе стояла воскресная тишина, не предвещавшая ничего хорошего в посёлке, до сих пор не поддававшемся никаким воскресным влияниям.

На красивом, спокойном лице мистера Окхэрста нельзя было заметить ни малейшего интереса к этим явлениям. Другой вопрос, понимал ли он, какова их причина. «Похоже, что они на кого-то ополчились, — подумал он, — уж не на меня ли?» Он сунул в карман носовой платок, которым сбивал пыль с шляпки Покер-Флета со своих изящных ботинок, и не стал утруждать себя дальнейшими размышлениями.

В самом деле, Покер-Флет в последнее время он понёс тяжёлую потерю: потерял несколько тысяч долларов и породистых лошадей и одного покровителя.

нина. Теперь посёлок переживал возврат к добродетели, столь же необузданный и беззаконный, как и те деяния, которые ему предшествовали. Тайный комитет постановил очистить посёлок от всех сомнительных личностей. Были приняты решительные меры постоянного характера относительно двух граждан, которые уже висели на сучьях сикоморы в ущелье, и меры временного порядка: из посёлка изгонялись некоторые другие личности предосудительного поведения. К сожалению, я не могу умолчать о том, что в числе их были дамы.

Отдавая должное прекрасному полу, следует упомянуть, что предосудительность поведения этих дам носила профессиональный характер. Покер-Флет отваживался осуждать только очевидные проявления порока.

Мистер Окхэрст не ошибся, предполагая, что попал в категорию осуждённых. Некоторые из членов комитета требовали, чтоб он был повешен, — это послужило бы примером, а также верным средством извлечь из его карманов те деньги, которые он у них выиграл.

— Несправедливо будет, — говорил Джим Уилер, — если этот молодой человек из Ревущего Стана, совершенно посторонний, увезёт с собой наши деньги.

Однако элементарное чувство справедливости, не чуждое самим людям, которым случалось видеть мистера Окхэрста, одержало верх над этим мнением.

Мистер Окхэрст отнёсся к приговору с философским равнодушием, не показывая, что ему было известно о колебаниях судей. Игрок по натуре не покорится судьбе. Жизнь в лучшем случае азартной игрой, а в худшем — неизвестен, и он не возражал

против того, что некоторый шанс перепадает банкомёту.

Отряд вооружённых людей провожал изгоняемый из Покер-Флета порок на окраину посёлка. Кроме мистера Окхэрста, — который был известен как человек хладнокровный и решительный и для устрашения которого предназначалась вооружённая охрана, — среди изгнанников находилась молодая женщина, известная в своём кругу под именем Герцогини, её подруга, носившая прозвище матушки Шиптон, и дядя Билли, подозреваемый в краже золотого песка из желобов и уличённый в пьянстве. Кавалькада не вызвала никаких комментариев со стороны зрителей, провожатые тоже не промолвили ни слова. И только когда доехали до ущелья, служившего рубежом Покер-Флета, предводитель охраны произнёс краткую и недвусмысленную речь. Изгнанникам было запрещено возвращаться в посёлок под страхом смерти.

Когда провожатые скрылись из виду, подавленные чувства изгнанников нашли выход в истерических слезах Герцогини, ругательствах матушки Шиптон и ядовитых комментариях дядюшки Билли. Один философический Окхэрст не проронил ни слова. Он спокойно выслушал, как матушка Шиптон грозилась выцарапать кому-то глаза, Герцогиня без конца повторяла, что умрёт в пути, а дядюшка Билли сыпал ужасающими проклятиями, словно их вытрясала из него неровная тропа. С непринуждённой любезностью, свойственной его профессии, Окхэрст настоял на том, чтобы Герцогиня пересела со своего убогого мула на Пятёрку — его лошадь. Но даже это не сблизило путников. Молодая женщина с убогим кокетством поправила свой наряд не первой свежести. Матушка

Шиптон недоброжелательно покосилась на владельца Пятёрки, а дядюшка Билли объединил всю компанию в одном уничтожающем проклятии.

Дорога на Сэнди-Бар, посёлок, которого еще не коснулись возрождающие веяния Покер-Флета и который поэтому казался им заманчивее других, шла по крутой горной тропе. До посёлка был целый день тяжёлого пути. Стояла поздняя осень, и путники скоро выбрались из влажного, умеренного климата предгорий в сухой, холодный, бодрящий воздух Сиерры. Тропа была узкая и неудобная. В полдень Герцогиня, скатившись с седла на землю, объявила, что не намерена двигаться дальше, и спутники её остановились.

Местность была необыкновенно дикая и живописная. Лесистый амфитеатр, окружённый с трёх сторон отвесными гранитными утёсами, полого спускался к краю обрыва, нависавшего над долиной. Без сомнения, это было самое подходящее место для лагеря, если бы благоразумие позволяло остановиться. Но мистер Окхэрст знал, что они не сделали и половины пути до Сэнди-Бара, что у них нет ни запасов, ни тёплой одежды и мешкать в пути нельзя. Он кратко указал на это обстоятельство своим товарищам, заметив при этом философически, что «глупо бросать карты раньше, чем кончилась игра». Но у них было виски, которое в случае нужды могло заменить пищу, топливо, отдых и благоразумие. Несмотря на протесты мистера Окхэрста, все очень скоро оказались под влиянием виновных паров. Дядюшка Билли быстро перешёл от воинственного задора к отупению, Герцогиня ударилась в слёзы, а матушка Шиптон захрапела. Один мистер Окхэрст оставался

на ногах и, прислонившись к скале, спокойно наблюдал за своими спутниками.

Мистер Окхэрст не пил. Это помешало бы его профессиональным занятиям, которые требовали спокойствия, хладнокровия и присутствия духа, и, по его словам, он не мог себе позволить такой роскоши. Он смотрел на заснувших товарищей по изгнанию, и одиночество, неразлучное с ремеслом отверженного, с укладом его жизни, с её порочностью, впервые начало угнетать его. Он занялся чисткой своего чёрного костюма, умываньем и другими делами, свидетельствовавшими о скрупулёзной опрятности, и на минуту забыл о своей тоске. Ему ни разу не пришлось в голову бросить более слабых и жалких товарищей. Однако он не мог не почувствовать, что ему недостаёт интеллектуального возбуждения, которое, как это ни странно, способствовало отличавшему его невозмутимому хладнокровию. Он смотрел на угрюмые утёсы, отвесной стеной в тысячу футов поднимавшиеся над полукругом обступивших его сосен, на злое хмурое небо, на долину, в глубине которой уже сгущался мрак. Вдруг он услышал, что его окликнули по имени.

В гору медленно поднимался всадник. По свежему, открытому лицу мистер Окхэрст узнал Тома Симсона из Сэнди-Бара, иначе именуемого Простаком. Несколько месяцев тому назад мистер Окхэрст познакомился с ним за «маленькой партией» и, не сморгнув глазом, выиграл у бесхитростного юнца всё его состояние, доходившее до сорока долларов. Когда партия была кончена, мистер Окхэрст отвёл юного игрока за дверь и обратился к нему с такими словами: «Томми, ты славный малый, но в картах ни черта не смыслишь. Лучше и не садись». Он отдал

ему деньги, тихонько вытолкнул его из комнаты — и в лице Тома Симсона приобрёл себе преданного раба.

Воспоминания об этом событии слышались в мальчишески-восторженном приветствии, обращённом к мистеру Окхэрсту. По словам Тома, он направлялся в Покер-Флет искать счастья.

— Один?

Нет, не совсем один; по правде сказать (с неловким смехом), он убежал с Пайни Вудс. Разве мистер Окхэрст не помнит Пайни? Она прислуживала за столом в Обществе трезвости. Они давно уже обручились, только... только старик Вудс никак не соглашался, и потому они решили бежать в Покер-Флет и там обвенчаться, — вот и всё. И они совсем заморились, просто счастье, что нашлось местечко, где можно отдохнуть, и подходящее общество. Всё это Простак выпалил единым духом, а Пайни, цветущая девица лет пятнадцати, краснея, показала из-за ссны, где она пряталась, и подъехала к своему возлюбленному.

Мистера Окхэрста редко смущали сентименты, ещё реже приличия, но тут он понял, что положение не из удачных. Тем не менее, он настолько сохранил присутствие духа, чтобы пнуть ногой дядюшку Билли, который собирался что-то сказать, а тот настолько протрезвился, чтобы признать в пинке мистера Окхэрста высшую силу, которая не потерпит шуток. Он постарался, хотя и без успеха, уговорить Тома Симсона, чтоб тот ехал дальше, указав при этом, что остановиться на ночлег негде. К несчастью, Простак в ответ на это возражение показал запасного мула, нагружённого провизией, и тут же нашёл грубо сколоченный бревенчатый домик недалеко от тропы.

— Пайни может побыть с миссис Окхэрст, — сказал Простак, кивая на Герцогиню, — а я уж как-нибудь устроюсь.

Только предостерегающий пинок мистера Окхэрста помешал дядюшке Билли разразиться хохотом. Ему пришлось пойти прогуляться вверх по кэньону, пока не пройдет смешливое настроение. Там он поделился своим весельем с соснами, без счёту хлопая себя по ляжке, гримасничая от смеха и по привычке сыпля проклятиями. Когда он вернулся к своим спутникам, все они сидели у костра, так как воздух сильно похолодал, а небо нахмурилось, и, повидимому, дружески беседовали. В самом деле, Пайни девически-оживлённо болтала с Герцогиней, которая слушала её внимательно и с интересом, какого давно уже не испытывала. Простак не менее оживлённо беседовал с мистером Окхэрстом и матушкой Шиптон, которая оттаяла и была чуть ли не любезна. «Это ещё что за пикник?» — сказал дядюшка Билли с искренним презрением, наблюдая живописную группу: пылающий костёр и стреноженных животных на переднем плане. Вдруг в голове его, отуманенной винными парами, зашевелилась мысль. Как видно, эта мысль была игривого характера, потому что он опять хлопнул себя по ляжке и засунул кулак в рот.

Тени медленно ползли вверх по горе, лёгкий ветер раскачивал верхушки сосен и стонал в их сумрачной, уходящей вдаль колоннаде. Развалившаяся сторожка, кое-как починённая и покрытая сосновыми лапами, была отведена дамам. При расставании влюблённые наивно обменялись поцелуем, таким простодушным и искренним, что его можно было слышать даже над качающимися соснами. Легкомысленная

Герцогиня и ехидная матушка Шиптон были так поражены этим последним проявлением протодушия, что, не вымолвив ни слова, отправились ко сну. В костёр подбросили сучьев, мужчины легли перед дверью сторожки и через несколько минут заснули.

Мистер Окхэрст всегда спал чутко. К утру он проснулся, закоченев от холода. Когда он поправлял потухающий костёр, ветер, подувший с новой силой, принёс нечто такое, что, коснувшись его лица, заставило отхлынуть от щёк всю кровь, — снег!

Он вскочил на ноги, намереваясь разбудить спящих, потому что нельзя было терять времени. Но когда он повернулся к тому месту, где лежал дядюшка Билли, оказалось, что тот исчез. Подозрение мелькнуло у него в голове, и с губ едва не сорвалось проклятье. Он побежал туда, где были привязаны мулы: их уже не было. Следы быстро заметало снегом.

Преодолев минутное волнение, мистер Окхэрст с обычным спокойствием вернулся к костру. Он не стал будить спящих. Простак мирно покоился с улыбкой на добродушном вёснущатом лице; невинная Пайни спала рядом со своими грешными сёстрами, словно под охраной ангелов небесных, и мистер Окхэрст, натянув на плечи одеяло, разгладил усы и стал дожидаться рассвета. Он пришёл в вихре снежных хлопьев, слепившем и туманившем глаза. Пейзаж, насколько его можно было рассмотреть, изменился, словно по волшебству. Мистер Окхэрст посмотрел в долину и подвёл итоги настоящему и будущему в двух словах: «Дорогу занесло!»

После тщательного осмотра провизии, которая, к счастью для изгнанников, была сложена



в сторожке и таким образом ускользнула от воровских рук дядюшки Билли, было установлено, что при некоторой осторожности и благоразумии они могут продержаться ещё десять дней.

— То есть, — сказал мистер Окхэрст Простаку *sotto voce*<sup>1</sup>, — если вы согласитесь нас кормить. Если нет — и, может быть, вам лучше не соглашаться, — мы подождём, пока дядюшка Билли вернётся с провизией. — По какой-то сокровенной причине мистер Окхэрст не решился рассказать о подлости дядюшки Билли и потому высказал предположение, что он ушёл в посёлок и случайно спугнул мулов. Он предупредил Герцогиню и матушку Шиптон, которым, конечно, были известны слабости их компаньона.

— Если они узнают об этом, они поймут, что мы за люди, — прибавил он внушительно, — а пока незачем их пугать.

Том Симсон не только предоставил все свои запасы в распоряжение мистера Окхэрста, но даже радовался предстоящему вынужденному заключению.

— Пробудем здесь в лагере с неделю, а потом снег растает, и мы вместе вернёмся обратно.

Жизнерадостность Тома Симсона и спокойствие мистера Окхэрста заражали других. Простак покрыл сосновыми сучьями стоявший без крыши сруб, а Герцогиня с таким вкусом и тактом руководила Пайни, приводившей в порядок хижину, что синие глаза этой провинциалки раскрывались всё шире и шире.

— Вы, наверное, привыкли к роскоши у себя в Покер-Флете, — сказала Пайни.

---

<sup>1</sup> *Sotto voce* — шопотом (итал.).

Герцогиня резко отвернулась, чтобы скрыть краску, проступившую сквозь профессиональные румяна, а матушка Шиптон попросила Пайни «не болтать зря». Когда мистер Окхэрст вернулся после безрезультатных поисков тропы, он услышал счастливый смех, повторяемый горным эхо. Он остановился в тревоге, и мысль его, естественно, обратилась к виски, которое он из осторожности припрятал.

— Однако на виски это мало похоже, — сказал игрок. И, только разглядев пламя костра сквозь слепящий глаза снежный вихрь и людей, сидящих вокруг, он успокоился, убедившись, что «они попросту веселятся».

Спрятал ли мистер Окхэрст свои карты вместе с виски как нечто запретное для собравшегося общества, — не могу сказать. Верно только то, что за весь вечер он, по словам матушки Шиптон, «ни разу не помянул про карты». К счастью, время помог скоротать аккордеон, который не без гордости извлёк Том Симсон из своей поклажи. Невзирая на некоторые трудности обращения с этим инструментом, Пайни Вудс ухитрилась извлечь кое-какие мелодии из неподатливых клавиш, под аккомпанемент пары кастаньет, которыми орудовал Простак. Но венцом праздничного вечера был непритязательный молитвенный гимн, который с большим воодушевлением пропела влюблённая чета, взявшись за руки. Боюсь, что не благочестие, а скорее непокорство, звучавшее в гимне, и пуритански-суровый ритм припева заставили других быстро подхватить слова:

Я горжусь служением господу  
И умру в рядах его воинства.

Сосны качались, снежный вихрь кружился и плясал над бедными изгнанниками, и пламя на их алтаре высоко взметалось к небу, словно подтверждая данный обет.

К полуночи буря утихла, быстро мчащиеся тучи рассеялись, и звёзды ярко заблестели над уснувшим лагерем. Мистер Окхэрст, по роду своих занятий привыкший обходиться минимальными дозами сна, деля вахту с Томом Симсоном, сумел взять на себя львиную долю его обязанностей. В своё оправдание он сказал Простаку, что «иногда неделями не ложится спать».

— Из-за чего? — спросил Том.

— Из-за покера, — назидательно отвечал мистер Окхэрст. — Когда человеку везёт, как утопленнику, он не чувствует усталости. Счастье уходит первым. Странная это штука—счастье,— продолжал игрок задумчиво. — Наверное знаешь о нём только то, что оно должно изменить. Настоящий игрок тот, кто чувствует, когда счастье уходит... Нам не везёт с тех пор, как мы уехали из Покер-Флета, а тут вы подвернулись, вот и вам тоже не повезло. Если выдержишь до конца, не бросишь карт, тогда всё в порядке. Потому что, — прибавил игрок шутливо, —

Я горжусь служением господа  
И умру в рядах его воинства.

Наступил третий день, и солнце, заглянув под белый полог долины, увидело, что изгнанники делят к завтраку мало-помалу убывающие запасы провизии. Одна из особенностей горного климата та, что солнечные лучи придают мягкую теплоту зимнему пейзажу, словно выражая сожаление о прошлых днях. Солнце осве-

тило снежные валы, вздымавшиеся вокруг домика,— неведомое, грозящее гибелью, непроходимое белое море расстилалось под скалистыми берегами, к которым всё ещё льнули утопающие. В изумительно прозрачном воздухе за много миль отсюда поднимался идиллический дымок посёлка Покер-Флет. Матушка Шиптон разглядела его и с отдалённых вершин своей скалистой крепости метнула в ту сторону выразительное проклятие. Это была её последняя попытка выбраться, что, может быть, и сообщило брани возвышенный характер. После этого ей стало легче, — сообщила она по секрету Герцогине.

— Поди туда и ругнись хорошенько — сама увидишь.

Потом она взяла на себя обязанность развлекать «деточку», как ей с Герцогиней нравилось называть Пайни. Пайни была отнюдь не птенчик, но это оригинальное и утешительное прозвище объясняло, почему Пайни не бранится и держит себя скромно.

Когда ночь снова подкралась из ущелий, у тлеющего костра раздались дрожащие звуки аккордеона, то судорожно-короткие, то длинные и замирающие. Но музыка не позволяла забыть о муках голода, и Пайни предложила новое развлечение — рассказывать что-нибудь. Так как ни мистер Окхэрст, ни его подруги не имели охоты рассказывать о своих приключениях, этот план тоже потерпел бы неудачу, если бы не Простак. Несколько месяцев тому назад ему случайно попала в руки «Илиада» в блистательном переводе Попа<sup>1</sup>. Прекрасно усвоив фабулу

---

<sup>1</sup> Александр Поп — знаменитый английский поэт-классицист XVIII века.

и совершенно забыв текст поэмы, он рассказал им основные события «Илиады» на общепринятом языке Сэнди-Бара. И так в этот вечер полубоги Гомера снова сошли на землю. Забияка-троянец и коварный грек снова вступили в бой под шум ветра, и высокие сосны ущелья склонились перед гневом Пелеева сына. Мистер Окхэрст слушал с удовольствием. Особенно заинтересовался он судьбой «Вухолеса», как упорно называл Простак быстрого Ахиллеса.

Так пролетела неделя над головами изгнанников. Солнце опять покинуло их, и из свинцовых туч опять сеялись на землю снежные хлопья. День за днём всё теснее смыкалось вокруг снеговое кольцо, и, наконец, выглянув из своей тюрьмы, они увидели над собой ослепительно-белые стены сугробов в двадцать футов вышиной. Поддерживать огонь становилось всё труднее и труднее, даже валежник поблизости теперь наполовину занесло снегом. И всё же никто не жаловался. Влюблённые, забыв о печальном будущем, смотрели друг другу в глаза и были счастливы. Мистер Окхэрст стоически спокойно ожидал неизбежного проигрыша. Герцогиня, которая стала веселее прежнего, ухаживала за Пайни. Одна только матушка Шиптон, когда-то самая крепкая из них, слабела и таяла с каждым днём. На десятые сутки, в полночь, она подозвала к себе Окхэрста.

— Я умираю, — сказала она ворчливым, но слабым голосом, — только не говори никому. Не буди детей. Возьми свёрток у меня под головой и разверни его. — Мистер Окхэрст развернул. В нём были нетронутые порции матушки Шиптон за неделю. — Отдай это девочке, — сказала она, указывая на спящую Пайни.

— Вы себя заморили голодом,—сказал игрок.

— Вот именно,—сказала она ворчливо, снова легла и, отвернувшись к стене, тихо скончалась.

Аккордеон и кости отложили в сторону на этот день, Гомер был забыт. Когда тело матушки Шиптон было предано снегу, мистер Окхэрст отвёл Простака в сторону и показал пару лыж, которые он смастерил из старого вьючного седла.

— Есть ещё возможность спасти её, один шанс против сотни, — сказал он, указывая на Пайни, — но этот шанс там, — прибавил он, указывая в сторону Покер-Флета. — Если тебе удастся доехать туда в два дня, то она спасена.

— А вы? — спросил Том Симсон.

— Я останусь здесь, — был краткий ответ.

Влюблённые расстались после долгих объятий.

— Вы тоже уходите? — спросила Герцогиня, заметив, что мистер Окхэрст собирается сопровождать Тома.

— Только до ущелья, — ответил он.

Вдруг он обернулся и поцеловал Герцогиню, отчего её бледные щёки вспыхнули и дрожащие руки опустились от изумления.

Мистера Окхэрста не было, когда пришла ночь; она снова принесла с собой бурю и крутящийся снег. Потом Герцогиня, которая подерживала костёр, обнаружила, что кто-то незаметно уложил позади хижины столько дров, что их должно было хватить на несколько дней. Слезы выступили у неё на глазах, но она скрыла их от Пайни. Женщины спали мало. Утром, взглянув друг другу в лицо, они прочли свою судьбу. Обе молчали, но Пайни, заняв позицию сильнейшей, подвинулась ближе и об-

няла Герцогиню за талию. Так они просидели весь этот день. К вечеру выюга бушевала, как никогда, и, раздвигая ограду сосен, вривалась в хижину.

К утру женщины были уже не в силах поддерживать огонь, и костёр мало-помалу погас. Когда пепел почернел, Герцогиня прижалась крепче к Пайни и впервые нарушила молчание многих часов:

— Пайни, ты умеешь молиться?

— Нет, милая, — ответила Пайни просто.

Герцогиня, сама не зная отчего, почувствовала облегчение и, положив голову на плечо Пайни, замолчала. Они уснули в этой позе, и та, которая была моложе и чище, приютила голову грешной сестры на своей девической груди.

Ветер утих, словно боясь разбудить их. Пушистые клочья, падая с длинных сосновых ветвей, слетали белокрылыми птицами и садились на спящих. Сквозь разорванные тучи луна смотрела на то, что было когда-то лагерем. Но все следы человека, всё, что осталось от трудов земных, было скрыто под чистейшей пеленой, милосердно сброшенной с неба.

Они спали весь этот день и следующий, не проснулись и тогда, когда голоса и шаги нарушили безмолвие лагеря. И когда чужие руки бережно смахнули снег с их побелевших лиц, одинаково мирное выражение, застывшее на них, не позволило отличить ту, которая грешила. Даже закон Покер-Флета это признал и не стал вмешиваться, оставив их в объятиях друг друга.

А у входа в ущелье, на самой высокой сосне, нашли двойку треф, пригвождённую к коре

охотничьим ножом. На ней было написано к  
рандашом твёрдым почерком:

*Под этим деревом  
лежит тело  
Джона Окхэрста,  
которому не повезло в игре  
23 ноября 1850 года,  
и он бросил карты  
7 декабря 1850 года.*

А под снегом, бездыханный и похолодевший,  
с пулей в сердце и пистолетом в руке, такой  
же спокойный, как и при жизни, лежал тот, кто  
был и самым сильным и самым слабым среди  
изгнанников Покер-Флета.



---

## И Л И С С

### Глава I

Как раз в том месте, где Сиерра-Невада переходит в волнистые предгорья и реки становятся не такими быстрыми и мутными, на склоне высокой Красной горы расположился Смитов Карман. Если смотреть на посёлок с ведущей к нему красной дороги на закате солнца, то в красных лучах и в красной пыли его белые домики кажутся гнёздами кварца, вкрапленными в гору. Красный дилижанс с пассажирами в красных рубашках двадцать раз пропадает из виду на извилистом спуске, неожиданно сворачивая в какие-то закоулки и совершенно исчезая из глаз в сотне шагов от посёлка. Вероятно, благодаря этим неожиданным поворотам дороги прибытие нового лица в Смитов Карман сопровождается странным обстоятельством. Выйдя из дилижанса на станции, самонадеянный путешественник непременно направится в противоположную сторону от посёлка, в полной уверенности, что идёт куда следует. Рассказывает, что какой-то старатель встретил одного из таких самонадеянных пассажиров в двух милях от посёлка, с ковровым саквояжем, зонтиком, журналом Гарпера<sup>1</sup> и прочими атрибута-

---

<sup>1</sup> Журнал Гарпера («Harper's Magazine») — популярный в США «толстый» литературно-публицистический журнал.

ми «цивилизации и культуры», шествующего в обратную сторону по той самой дороге, по которой он только что приехал, в безуспешных поисках Смитова Кармана.

Если путешественник наблюдателен, своеобразие пейзажа до некоторой степени вознаграждает его за разочарование. Глубокие расщелины в склоне горы и оползни красной глины больше походят на первобытный хаос, чем на результаты человеческих трудов; на половине спуска длинный и узкий жолоб растопыривает свои уродливые ноги над пропастью, словно гигантский скелет какого-то допотопного ископаемого. На каждом шагу дорогу пересекают канавы поуже, таящие в своих жёлтых глубинах мутные ручьи, которые спешат тайно соединиться с жёлтой рекой внизу; кое-где виднеются разрушенные хижинки с торчащей трубой и очагом, открытым ветру.

Своим происхождением Смитов Карман обязан некоему Смигу, обнаружившему этот Карман на том месте, где стоит теперь посёлок.

Пять тысяч долларов были выбраны из него Смитом в первые полчаса. Три тысячи долларов были истрачены Смитом и другими на сооружение жолоба для промывки золота и на рытье шурфов. А потом оказалось, что участок Смита — просто карман, который легко опустошить, как и другие карманы. Хотя Смит добрался до самых недр высокой Красной горы, эти пять тысяч были первым и последним вознаграждением за его труды. Гора не выдавала своей золотой тайны, а жолоб спускал в реку последние деньжонки Смита. Смит занялся разработкой кварцевых жил, затем дроблением кварца, затем гидравлическими установками и рытьём канав, а там легко докатился и до со-

держания салуна. Скоро стали поговаривать, что Смит сильно пьёт, потом стало известно, что он горький пьяница, потом люди, как это им свойственно, начали думать, что он сроду был такой. К счастью, посёлок Смитов Карман, как и большинство таких посёлков, не зависел от судьбы своего основателя, и теперь не он, а другие закладывали шурфы и находили карманы. Таким образом, Смитов Карман превратился в городок с двумя галантерейными лавками, двумя гостиницами, конторой дилижансов и двумя первыми в городе семействами. Время от времени единственная улица посёлка, непомерно растянувшаяся в длину, благоговейно созерцала последние моды Сан-Франциско, выпитые с нарочным и демонстрируемые исключительно двумя первыми в посёлке семействами: тогда неказистая природа выглядела посрамлённой, большинство же населения, которому день субботний напоминал отнюдь не о нарядах, а только о необходимости помыться и переменить бельё, усматривало в этом франтовстве личное оскорбление. Была в посёлке и методистская церковь, а рядом с нею — банк, немного дальше, на склоне горы — кладбище, а за ними — маленькая школа.

Однажды вечером «учитель», — под этим именем его знала маленькая паства, — сидел в школе, разложив перед собой открытые тетради, и старательно выводил в них крупными и твёрдыми буквами те прописи, в которых, как принято думать, высокое искусство чистописания сочетается с высокой назидательностью. Он уже дошёл до изречения «Не всё то золото, что блестит», он украшал существительное лишним завитком, вполне соответствовавшим показному характеру этой прописи, когда ему послы-

шался лёгкий стук. Дятлы возились на крыше целый день, и стук не мешал ему работать. Но когда дверь отворилась и стук послышался уже изнутри, он поднял глаза. Учитель немного удивился, увидев перед собой девочку-подростка, неряшливо и бедно одетую. Однако большие чёрные глаза, жёсткие и растрёпанные чёрные волосы, падавшие на загорелое лицо, красные руки, ноги, измазанные красной глиной, были ему знакомы. Это была Мелисса Смит, выросшая без материнской ласки дочка Смита.

«Что ей здесь понадобилось?» — подумал учитель. Все знали «Млисс», — под этим именем она была известна в посёлках Красной горы. Все знали, что она испорченный ребёнок. Её дикий, неукротимый нрав, сумасбродные выходки, непокорный характер вошли в поговорку так же, как и слабости её отца, и население посёлка относилось к ним философски. Она ссорилась и дралась со школьниками, не уступая им в силе и превосходя их язвительностью. Она карабкалась по горным тропам с ловкостью настоящего горца, и учитель не раз встречал ее в горах, за много миль от посёлка, босиком, с непокрытой головой. Золотоискатели в посёлках кормили её во время этих добровольных скитаний, щедро подавая милостыню. Впрочем, когда-то ей была оказана и более существенная помощь. Преподобный Джошуа Мак-Снэгли, «штатный» проповедник посёлка, устроил её служанкой в гостиницу, надеясь, что там она научится прилично вести себя, и представил её своим воспитанникам в воскресной школе. Однако она швыряла тарелками в хозяина, отвечала дерзостями на дешёвые острооты гостей, а в воскресной школе произвела сенсацию, настолько несовместную с бла-

гочестивой и мирной скукой этого учреждения, что, оберегая накрахмаленные юбки и безупречную нравственность двух бело-розовых девиц из первых семейств города, достопочтенный проповедник изгнал её оттуда с позором. Такова была история и таков был характер девочки, стоявшей перед учителем. История угадывалась по рваному платью, нечёсаным волосам, расцарапанным в кровь ногам и вызвала жалость. Характер сверкал в её чёрных бесстрашных глазах и требовал к себе уважения.

— Я пришла сюда, — сказала она быстро и смело, устремив на него суровый взгляд, — потому что знала, что вы один. Если б эти девочки были здесь, я бы не пришла. Я их ненавижу, и они меня тоже. Вот что. Вы учите в школе, да? Ну, так я хочу учиться!

Если бы к жалкой одежде и неприглядности спутанных волос и грязного лица прибавились ещё смиренные слёзы, учитель почувствовал бы к ней только ни к чему не обязывающее сожаление — и ничего больше. Но тут, по естественному, хоть и непоследовательному, инстинкту человеческой природы, её смелость пробудила в нём то уважение, которое все незаурядные натуры невольно чувствуют друг к другу, на какой бы ступени общественной лестницы они ни находились. Он смотрел на неё внимательно, а она договаривала поспешно, держась за ручку двери и не сводя с него глаз:

— Меня зовут Млисс—Млисс Смит! Провалиться мне, если вру! Мой отец старик Смит, лодырь Смит, вот в этом-то и дело. Я Млисс Смит, и я буду ходить в школу!

— Ну так что же? — сказал учитель.

Привыкнув к тому, чтоб ей противодейство-

вали и перечили, нередко беспричинно и жестоко, только для того, чтобы подразнить её, она стала втупик перед невозмутимостью учителя. Она загнулась, начала крутить в пальцах прядку волос, и жёсткая линия верхней губы, закрывавшей острые зубки, смягчилась и слегка дрогнула. Потом глаза её опустились, что-то вроде румянца проступило на щеках, соперничая с многолетним загаром и брызгами красной глины. Вдруг она подбежала к столу и, припав к нему головой, зарыдала так, словно сердце у неё разрывалось, горестно причитая и призывая к себе смерть.

Учитель тихонько приподнял её за плечи и стал ждать, пока она успокоится. Когда, отвернувшись в сторону и рыдая, она повторяла, в припадке детского раскаяния, что она исправится, что она не нарочно и так далее, ему пришло в голову спросить, почему она бросила воскресную школу.

Почему она бросила воскресную школу? Почему? Ах, вот как! А зачем он (Мак-Снэгли) сказал, что Млисс безнравственная? А зачем он говорил, что бог её не любит? Если бог её не любит, тогда ей нечего делать в воскресной школе. Она не желает ходить туда, где её не любят.

— Ты так и сказала Мак-Снэгли?

— Да, так ты сказала.

Учитель засмеялся. Смех был искренний и прозвучал таким диссонансом в маленькой школе, он так не вязался с шумом сосен за окном, что учитель сейчас же спохватился и вздохнул. Тем не менее, вздох был тоже искренний, и, помолчав несколько минут, он спросил её об отце.

Отец? Какой отец? Чей отец? Что он для

неё сделал? За что девчонки её ненавидят? Подите вы, пожалуйста! Отчего же люди говорят, когда она проходит мимо: «Дочка старого лодыря Смита»? Да, да! Уж лучше бы он помер, да и она тоже, да хоть бы и все подошли, — и рыдания разразились с новой силой.

Тогда учитель, наклонившись над девочкой, стал говорить ей, как только мог убедительнее, то, что могли бы сказать и мы с вами, услышав от ребёнка такие неподходящие речи; он лучше нас с вами знал, как не идёт девочке рваное платье, исцарапанные ноги и как омрачает её жизнь тень вечно пьяного отца. Потом он закутал девочку в свой плед и, сказав, чтобы она приходила пораньше утром, проводил её вниз по дороге. Там он попрощался с ней. Луна ярко освещала узкую тропинку перед ними. Он стоял и следил, как съезжившаяся маленькая фигурка бредёт, спотыкаясь, по дороге, подождал, пока она миновала кладбище и поднялась на гребень холма, где обернулась и постояла минутку, — пылинка человеческого горя в сиянии далёких, терпеливых звёзд. Потом он вернулся и сел за работу. Но линейки в тетрадах казались ему теперь длинными параллелями бесконечных тропинок, по которым, всхлипывая и плача, уходили в темноту детские фигурки. После этого школа показалась ему ещё неприятнее, и он запер дверь и ушёл домой.

На следующее утро Млисс явилась в школу. Её лицо было вымыто, жёсткие чёрные волосы носили следы недавней борьбы с гребнем, в которой пострадали, очевидно, обе стороны. Задорные искорки ещё загорались иной раз в глазах, но держалась она смиренно и послушно. Начались взаимные испытания и уступки как со

стороны учителя, так и со стороны ученицы, в результате которых взаимное доверие и симпатия между ними всё возрастали. При учителе Млисс сидела смиренно, зато на переменах из-за какой-нибудь воображаемой обиды она приходила в необузданную ярость, и не один юный дикарь, в разорванной куртке и с царапинами на щеках, найдя в ней равного по силе противника, весь в слезах разыскивал учителя и жаловался на эту ужасную Млисс.

Жители посёлка резко расходились во мнениях по этому поводу: одни грозили, что возьмут своих детей из такого дурного общества, другие столь же горячо защищали учителя, взявшего на себя задачу перевоспитания Млисс. Тем временем с упорной настойчивостью, впоследствии удивлявшей его самого, когда он оглядывался на прошлое, учитель мало-помалу вытягивал Млисс из мрака её былой жизни, и она как будто сама, без чужой помощи, двигалась вперёд по узкой тропе, на которую он вывел её в ту лунную ночь. Помня опыт евангелического Мак-Снэгли, он старательно избегал того подводного камня, на котором этот неопытный лоцман разбил ладью её робкой веры. Но если при чтении ей попадались случайно те немногие слова, которые поставили младенцев выше взрослых людей, более опытных и благо-разумных, если она узнавала что-нибудь о вере, символ которой — страдание, и зазорный огонёк в её глазах смягчался, то это было больше, чем урок. Несколько простых людей собрали кое-какие деньги, что помогло оборванной Млисс одеться согласно требованиям приличия и цивилизации, и крепкое рукопожатие и бесхитростные слова одобрения со стороны какой-нибудь коренастой фигуры в красной рубашке заставляли



молодого учителя краснеть и думать, что похвала им едва ли заслужена.

Прошло три месяца с тех пор, как они встретились впервые. Поздно вечером учитель сидел над назидательной прописью, когда в дверь постучались, и перед ним снова предстала Млисс. Она была опрятно одета и умыта, и только длинные чёрные косы да блестящие чёрные глаза напоминали учителю о первом её появлении.

— Вы заняты? — спросила она. — Можете пойти со мной? — И когда он изъявил полную готовность, она сказала по-старому своевольно: — Ну, тогда идите скорей!

Они вместе вышли из школы на тёмную дорогу. Уже в городе учитель спросил, куда же она идёт.

— К отцу, — ответила она.

В первый раз она назвала его, как подобает дочери, а не просто «стариком Смитом» или «стариком». В первый раз за все эти три месяца она заговорила о нём, и учитель знал, что Млисс намеренно отдалилась от отца с тех пор, как в её жизни произошла перемена. Убедившись, что бесполезно расспрашивать Млисс о цели их путешествия, он покорно шёл за нею. Вместе с нею он заходил в самые глухие углы, кабачки последнего разбора, в закусовые, в бары, в игорные притоны, в танцевальные залы. Девочка стояла среди сизого дыма и громкой брани притонов, тревожно оглядываясь и держа учителя за руку, и, повидимому, ни о чём не думала, кроме цели своих поисков. Иногда гуляки, узнав Млисс, подзывали её, чтобы она им спела и сплясала, и, верно, заставили бы её выпить глоток-другой, если б не вмешательство учителя. Другие, узнав его, безмолвно рассту-

пались, давая им дорогу. Так прошёл час. Потом девочка шепнула учителю на ухо, что по ту сторону ручья, через который перекинут жолоб, стоит хижина и, может быть, её отец там. Туда они и отправились; нелёгкий путь отнял полчаса, но поиски их были тщетны.

Они возвращались вдоль канавы, шедшей мимо устоев жолоба, глядя на огни города за ручьём, когда в чистом ночном воздухе неожиданно и резко прозвучал выстрел. Эхо подхватило выстрел и понесло вокруг Красной горы, и, заслышав его, собаки на приисках разразились лаем. На окраине города заплясали и задвигались огни, ручей зажурчал слышнее, два-три камня отделились от обрыва и с плеском скатились в воду, порыв ветра всколыхнул вершины траурных сосен, и после этого тишина словно сгустилась, стала ещё глуше, ещё мертвеннее. Учитель невольно обернулся к Млисс, словно для того, чтобы защитить её, но девочка исчезла. Сердце его сжалось от страха, он быстро спустился вниз по тропинке к ручью и, перепрыгивая с камня на камень, добежал до подножия Красной горы, где начинался посёлок. На середине пути он взглянул вверх, и у него захватило дыхание: высоко над собой, на узком крае жолоба, он заметил фигурку своей спутницы, перебегавшую по жолобу в темноте.

Выбравшись на крутой берег, он пошёл прямо на огоньки, которые двигались по горе вокруг одной какой-то точки, и скоро, с трудом переводя дыхание, очутился среди притихших и опечаленных золотоискателей. Из толпы выступила девочка и, взяв учителя за руку, молча подвела его к какой-то яме или пещере с обвалившимися краями. Её лицо совсем побелело, но она уже не волновалась, и глаза смотрели так,

словно произошло, наконец, событие, которого она давно ожидала, — в её взгляде было что-то похожее на облегчение, как показалось растерявшемуся учителю. Стены пещеры местами были подпёрты полусгнившими стойками. Девочка показала на бесформенную грудку, которую учитель принял было за лохмотья, оставленные в пещере её последним жильцом. Он поднёс ближе горящую сальную свечу и нагнулся над лохмотьями. Это был Смит, уже похолодевший, с пистолетом в руке и пульей в сердце, он лежал возле своего пустого «кармана».

## Глава II

Мнение, высказанное мистером Мак-Снэгли относительно «духовного перелома», который, по его словам, переживала Млисс, нашло себе более образное выражение в шахтах и на приисках. Там говорили, что Млисс «разрабатывает новую жилу». Когда на маленьком кладбище прибавилась ещё одна могила и над нею за счёт учителя была поставлена небольшая надгробная плита, «Знамя Красной горы», не пожалев затрат, выпустило специальный номер, который воздавал должное памяти «одного из старейших наших аборигенов», осторожно намекая на «причину гибели многих благородных умов», и всячески затушёвывал неблагоприятное прошлое «нашего дорогого собрата».

«Его оплакивает единственная дочь, — писало «Знамя», — которая за последнее время показала примерные успехи в науках благодаря усилиям distinguished мистера Мак-Снэгли». Distinguished Мак-Снэгли действительно много носился с обращением Млисс и, косвенно

обвиняя несчастного ребёнка в самоубийстве отца, загадочно намекал в воскресной школе на благотворное действие «безгласной могилы». От таких утешительных речей дети замирали в страхе, а бело-розовые отпрыски первых семейств раздражались отчаянным рёвом, не желая слушать никаких уговоров.

Наступило долгое засушливое лето. Один день за другим догорал в клубках жемчужно-серого дыма на вершинах гор, ветерок налетал и рассеивал над землёй красный пепел, и зелёная волна, захлестнувшая ранней весной могилу Смита, пожелтела, завяла и высохла. Учитель, гулявший по воскресеньям на кладбище, иногда с удивлением находил цветы из сырых сосновых лесов, рассыпанные на этой могиле, а ещё чаще — неуклюжие венки, повешенные на маленький сосновый крест. Почти все венки были сплетены из душистой травы, которую дети любили держать в партах, вперемежку с цветущими ветками каштана, дикого жасмина и лесными анемонами; среди этих цветов учитель заметил тёмносиний клубочок ядовитого волчьего корня. Ядовитая трава, попавшая в надгробный венок, произвела неприятное впечатление на учителя, но едва ли оскорбила его эстетическое чувство.

Однажды, во время долгой прогулки, переходя лесистый горный кряж, он встретил Млисс в самой глубине леса. Она сидела на поваленной сосне, косматые сухие ветви которой образовали что-то вроде фантастического трона и, разбирая травы и шишки, лежавшие у неё на коленях, тихо напевала негритянскую песенку, которой выучилась в детстве. Узнав учителя ещё издали, она подвинулась, освободив ему место рядом с собой, и гостеприимно и покровитель-

ственно, что могло бы показаться смешным, если б она вела себя не так серьёзно, угостила его орехами и дикими яблоками. Заметив у неё на коленях тёмные цветы волчьего корня, учитель воспользовался случаем, чтобы указать ей на вредные, ядовитые свойства этого растения, и взял с неё слово, что она не станет рвать волчьего корня, пока учится в школе. Зная по опыту, что на её честность можно положиться, он удовлетворился этим, и странное чувство, возникшее у него при виде этого ядовитого растения, прошло без следа.

Из всех семей, которые предложили приютить Млисс под своим кровом, когда стало известно, что она «обратилась», учитель выбрал семью миссис Морфер, женственной и добросердечной представительницы юго-восточных штатов, в девичестве носившей прозвище «Розы прерий».

Будучи одной из тех натур, которые энергично борются с собственными наклонностями, миссис Морфер, после долгой борьбы с собой и многих жертв, наконец подчинила свой безалаберный характер идее «порядка», который считала, вместе с мистером Попом, «первым законом небес». Но как бы закономерно ни было её движение по собственной орбите, она не в состоянии была уследить за своими спутниками, и даже её «Джимс» подчас сталкивался с нею. Природа взяла своё в потомстве миссис Морфер. Ликург шарил в буфете до обеда, Аристид возвращался из школы без башмаков, бросив эту важную часть туалета на улице, ради удовольствия прогуляться босиком по канавам. Октавия и Кассандра были порядочные неряхи. И сколько бы «Роза прерий» ни подстригала и ни холила свою зрелую красоту, маленькие отпрыски наперекор матери росли дико и буйно, за един-

ственным исключением. Этим единственным исключением была Клитемнестра Морфер, пятнадцати лет от роду. Она была воплощением идеала своей матери — чистенькая, аккуратная и скучная.

Со стороны миссис Морфер было приятным заблуждением думать, что Клити служит для Млисс утешением и примером. Повинуясь этой слабости, миссис Морфер вечно ставила Клити в пример Млисс, когда та плохо себя вела, и заставляла девочку восхищаться ею в минуты раскаяния. Поэтому учитель не удивился, услышав, что Клити будет ходить в школу, очевидно, из любезности к нему самому и как пример для Млисс и других, ибо Клити была уже взрослая молодая особа. Унаследовав физические особенности своей матери и подчиняясь климатическим законам Красной горы, она расцвела рано. Местная молодёжь, которой редко приходилось видеть такие пышные цветы, вздыхала по ней в апреле и томилась в мае. Её воздыхатели слонялись возле школы в те часы, когда кончались уроки. Некоторые ревновали её к учителю.

Может быть, именно это обстоятельство открыло глаза учителю. Он не мог не заметить романтических склонностей Клити, не мог не заметить, что в классе она то и дело требовала к себе внимания; что её перья всегда плохо писали и нуждались в очинке; что просьбы эти обычно сопровождались выразительным взглядом, совершенно не соответствовавшим характеру услуги, о которой она просила; что иногда она касалась полным круглым локотком руки учителя, начинавшего для неё пропись; что при этом она всегда краснела и откидывала назад белокурые локоны. Не помню, говорил ли я, что учитель был молод; впрочем, это об-

стоятельство не имеет значения; он уже прошёл суровую школу, в которой Клити брала свой первый урок, и довольно успешно сопротивлялся полным локоткам и притворно-ласковым взглядам, как и подобало молодому спартанцу. Быть может, такому аскетизму способствовало недостаточное питание.

Обычно учитель избегал Клити, но однажды вечером, когда она возвратилась в школу за какой-то забытой вещью и нашла её не раньше того, как учитель собрался идти домой, он проводил её и постарался быть особенно любезным, главным образом потому, я думаю, что такое поведение наполняло желчью и без того переполненные сердца поклонников Клитемнестры.

На следующее утро после этого трогательного происшествия Млисс не пришла в школу. Наступил полдень, а Млисс всё не было. Когда он спросил о ней Клити, оказалось, что они вышли из дому вместе, но упрямая Млисс пошла другой дорогой. Она не приходила весь день. Вечером он зашёл к миссис Морфер, чьё материнское сердце было не на шутку встревожено. Мистер Морфер провёл целый вечер в поисках беглянки, но не нашёл никаких следов, которые указали бы на её местопребывание. Призвали Аристиду, как возможного сообщника, но этот добродетельный младенец сумел уверить домашних в своей невинности. Живое воображение миссис Морфер подсказывало ей, что девочка утонула в канаве или, — это было бы не менее ужасно, — так перепачкалась, что нельзя будет помочь делу ни мылом, ни водой.

С тяжёлым сердцем учитель вернулся в школу. Когда он зажжёт лампу и уселся за свой стол, он заметил перед собой адресованное ему письмо, написанное почерком Млисс. Оно было на-

писано на листке, вырванном из старой записной книжки, и запечатано шестью старыми облатками, чтобы ничьи дерзновенные руки не коснулись его. Учитель вскрыл его почти с нежностью и прочёл:

«Милостивый государь, когда вы прочтёте это, меня уже здесь не будет. И я никогда не вернусь. Никогда, никогда, никогда! Можете отдать мои бусы Мери Дженнигс, а мою «Гордость Америки» (ярко раскрашенную литографию с табачной коробки) — Салли Флендерс. Только не давайте ничего Клити Морфер. Не смейте давать. Если хотите знать, что я о ней думаю, так вот: она препротивная девчонка. Вот и всё, и больше мне писать не о чем.

С уважением

*Мелисса Смит».*

Учитель сидел, размышляя над этим странным посланием до тех пор, пока светлый лик луны не поднялся над дальними горами и не осветил протоптанную детскими ногами дорожку, которая вела к школе. Потом, несколько успокоившись, он разорвал письмо на клочки и разбросал их по дороге.

На следующее утро, с восходом солнца, он уже прокладывал себе путь сквозь пальмовидные папоротники и густой кустарник в сосновом лесу, спугивая по дороге зайцев из нор и вызывая хриплый протест со стороны беспутных ворон, которые, должно быть, гуляли всю ночь напролёт, и, наконец, добрался до лесистого горного края, где когда-то повстречал Млисс.

Там он разыскал поваленное дерево с косматыми ветвями, но трон пустовал. Когда он подошёл ближе, сучья затрещали, словно под ногами какого-то испуганного зверька. Что-то про-



бежало вверх среди вскинутых к небу рук павшего гиганта и затаилось в гостеприимной хвое. Учитель, добравшись до знакомого места, нашёл, что гнёздышко ещё не остыло; взглянув вверх, он встретил среди переплетённых ветвей чёрные глаза беглянки Млисс. Они смотрели друг на друга молча. Млисс первая нарушила молчание.

— Что вам нужно? — кратко спросила она.

Учитель заранее обдумал, как ему держаться.

— Яблок, — сказал он смиренно.

— Ничего вы не получите! Ступайте прочь. Подите попросите у Клитемне-ре-стры. (Ей, казалось, доставляло удовольствие презрительно растягивать и без того длинное имя этой классической молодой особы.) Как вам не стыдно!

— Я хочу есть, Лисси. Я ничего не ел со вчерашнего обеда. Умираю с голоду! — И молодой человек в совершенном изнеможении прислонился к дереву.

Сердце Мелиссы дрогнуло. Ещё с горьких дней цыганской жизни ей было знакомо ощущение, которое так искусно имитировал учитель. Победенная его смиренным тоном, но ещё не отбросив подозрения, она сказала:

— Поройтесь под деревом у корней, там их много; только не говорите никому, — у Мелиссы была своя кладовая, как у белок или мышей.

Учитель, конечно, не мог ничего найти; должно быть, плохо видел от голода. Млисс встревожилась. Наконец она лукаво взглянула на него сквозь ветви и спросила:

— Если я слезу и дам вам яблок, вы меня не тронете?

Учитель обещал.

— Скажите: «помереть мне на этом месте». Учитель был согласен и на это. Млисс со-

скользнула на землю. Несколько минут оба молча грызли орехи.

— Теперь вам лучше? — спросила она заботливо.

Учитель признался, что силы его восстанавливаются, и, серьёзно поблагодарив её, пустился в обратный путь. Как он и предвидел, Млисс окликнула его, не дав ему отойти. Он обернулся. Она стояла бледная, со слезами в широко раскрытых глазах. Учитель почувствовал, что наступила подходящая минута. Он подошёл к ней, взял её за руки и, заглянув ей в глаза, полные слёз, сказал серьёзным тоном:

— Лисси, помнишь тот вечер, когда ты пришла ко мне в первый раз?

Да, Лисси помнила этот вечер.

— Ты сказала, что хочешь учиться, хочешь исправиться, а я ответил...

— «Приходи», — быстро закончила девочка.

— А что ты ответишь, если твой учитель скажет, что ему скучно без его маленькой ученицы, и попросит тебя вернуться и помочь ему исправиться?

Девочка повесила голову и долго молчала.

Учитель терпеливо ждал. Обманутый тишиной заяц подбежал к ним вплотную и уселся, подняв бархатные передние лапки и глядя на них блестящими глазами. Белка сбежала вниз по морщинистой коре поваленного дерева и остановилась на полдороге.

— Мы ждём, Лисси, — сказал учитель шопотом, и девочка улыбнулась. Налетевший ветерок закачал верхушки деревьев, и длинный тонкий лучик света прокрался сквозь спутанные ветви и упал на растерянное лицо и полную нерешимости фигурку. Вдруг со свойственной ей живостью Млисс схватила руку учителя. Что она

сказала, едва можно было расслышать, но учитель, откинув со лба Млисс чёрные волосы, поцеловал её; и рука об руку они вышли из-под влажных сводов, полных лесного аромата, на открытую, освещённую солнцем дорогу.

### Глава III

Несколько смягчившись ко всем другим школьным товарищам, Млисс попрежнему держалась враждебно по отношению к Клитемнестре. Быть может, ревнивое чувство не совсем уснуло в её горячем маленьком сердечке. Быть может, круглые локотки и пышная фигура представляли более широкие возможности для щипков. Но так как эти вспышки умерялись присутствием учителя, её вражда иногда принимала иные формы, с которыми трудно было бороться.

Учителю, когда он впервые составил суждение о характере девочки, не могло притти в голову, что у неё есть кукла. Но он, как и другие профессиональные знатоки человеческой души, умел лучше рассуждать *a posteriori*<sup>1</sup>, чем *a priori*<sup>2</sup>. У Млисс была кукла, именно такая, как следовало ожидать, — маленькая копия её самой. Она влачила своё плачевное существование втайне до тех пор, пока её не открыла миссис Морфер. Кукла была подругой Млисс в её прежних скитаниях, и на ней остались явные следы пережитых невзгод. Былой румянец смыло дождём и затушевало грязью из канав. Она была очень похожа на самое Млисс в старое время. Единственное платье из полинявшего ситца бы-

---

<sup>1</sup> *A posteriori* — после опыта (лат.).

<sup>2</sup> *A priori* — до опыта (лат.).

ло так же грязно и оборвано, как бывало у Млисс. Девочка никогда не ласкала свою куклу, как другие дети. Млисс никогда не играла в куклы при других. Она обращалась с ней сурово, укладывала её спать в дупло дерева, неподалёку от школы, и гулять ей разрешалось только во время скитаний самой Млисс. Она относилась к кукле строго, как к самой себе, и не баловала её.

Мисс Морфер, повинувшись весьма похвальному побуждению, купила другую куклу и подарила её Млисс. Девочка приняла подарок с достоинством и как будто заинтересовалась им. Учителю показалось, что круглые розовые щёки и светлые голубые глаза куклы слегка напоминают Клитемнестру. Довольно скоро выяснилось, что и сама Млисс заметила это сходство. Оставшись одна, она колотила её восковой головкой о камни, а иногда, привязав за шею, волочила на верёвочке, идя из школы и в школу. Или, посадив куклу перед собой на парту, втыкала булавки в её терпеливое, безответное тело. Делалось ли это в отместку за то, что добродетельную Клити, как она думала, навязали ей на шею, или она усвоила бессознательно обряды многих языческих племён и, проделывая эту церемонию над фетишем, воображала, что оригинал её восковой модели зачахнет и в конце концов умрёт, — вопрос слишком отвлечённый, и обсуждать его теперь я не намерен.

Несмотря на эти выходки, учитель не мог не заметить в её школьных работах проблесков живого, беспокойного и сильного ума. Она не знала ни колебаний, ни сомнений, свойственных детям. Её ответы в классе всегда отличались смелостью. Разумеется, она часто ошибалась. Но смелость, с которой она отважно пускалась

вплавь, опережая барахтавшихся рядом с ней маленьких пловцов, перевещивала в их глазах все ошибки суждения.

Мне кажется, дети в этом отношении не лучше взрослых, и когда маленькая красная ручка поднималась над партой, наступало насторожённое молчание, и даже учитель подчас переставал доверять собственному опыту и уму.

Тем не менее, некоторые черты её характера, сначала забавлявшие учителя, начали вызывать в нём серьёзную тревогу. Он не мог не видеть, что Млисс дерзка, мстительна и упряма. В ней была одна хорошая черта, естественная в такой дикарке, — физическая выносливость и закалённость, и другая, не всегда свойственная дикарям, — правдивость. Млисс была бесстрашна и искренна, — быть может, в применении к такой натуре оба эти слова значили одно и то же. Учитель долго думал об этом и пришёл к выводу (знакомому всем, кто искренен сам с собой), что он раб собственных предрассудков. Он решил посоветоваться с преподобным Мак-Снэгли. Это решение было довольно оскорбительно для его самолюбия, потому что они с Мак-Снэгли недолюбливали друг друга. Но он подумал о Млисс, о том вечере, когда она впервые пришла к нему, и с суеверной, хотя не нуждающейся в оправдании мыслью, что не один только случай привёл её упрямые стопы к школе, он поборол свою антипатию и отправился к Мак-Снэгли, сознавая редкое великодушие такого поступка.

Достопочтенный джентльмен был рад его видеть, больше того, заметил, что учитель теперь выглядит значительно лучше, и выразил надежду, что он избавился от ревматизма и невралгии. Сам Мак-Снэгли с последнего молитвенного

собрания страдает ломотой в ногах. Но он выучился преодолевать болезни молитвой.

Помолчав с минуту, чтоб дать учителю возможность запечатлеть в своей памяти этот способ лечения болезни, мистер Мак-Снэгли перешёл к расспросам о «сестре Морфер». «Она — украшение христианства, и потомство у неё растёт такое же, — прибавил мистер Мак-Снэгли, — дочка у неё такая воспитанная, эта самая мисс Клити, так прекрасно себя ведёт».

Он был до такой степени неравнодушен к совершенствам мисс Клити, что разглагольствовал о ней битых четверть часа. Учитель совсем растерялся. Во-первых, в этих похвалах по адресу Клити он усматривал скрытое недоброжелательство к бедной Млисс. Во-вторых, была неприятная фамильярность в тоне, каким Мак-Снэгли говорил о первенце миссис Морфер. И учитель, после нескольких бесплодных попыток отвечать более или менее естественным тоном, был вынужден припомнить какое-то дело и ушёл, так и не попросив совета. Впоследствии он не совсем справедливо обвинял преподобного Мак-Снэгли в том, что он отказался дать ему этот совет.

Быть может, именно этот отпор снова сблизил учителя с ученицей. Девочка, казалось, заметила, что за последнее время обращение с нею учителя изменилось, стало более принуждённым, и во время одной из их долгих послеобеденных прогулок она неожиданно остановилась, влезла на пень и посмотрела ему прямо в лицо своими большими, пытливыми глазами.

— Вы не рехнулись? — спросила она, отбросив за спину свои чёрные косы.

— Нет.

— И не сердитесь?

— Нет.

— И не голодны? (Голод, по мнению Млисс, был такой болезнью, которая могла поразить человека в любое время.)

— Нет.

— И о ней не думаете?

— О ком, Лисси?

— Об этой белобрысой! (Последний эпитет, который Млисс, очень смуглая брюнетка, избрала для обозначения Клитемнестры.)

— Нет.

— Честное слово?.. (Замена «помереть на этом месте», предложенная учителем.)

— Да.

— Самое честное?

— Да.

Тут Млисс стремительно поцеловала учителя и, прыгнув на землю, бросилась бежать. На следующий день она снизошла до того, что вела себя почти так же, как другие дети, «исправилась», как она сама выражалась.

Прошло два года с тех пор, как учитель приехал в посёлок, и так как жалование его было невелико и рассчитывать на то, что Смитов Карман станет в скором времени столицей штата, едва ли приходилось, то он подумывал о перемене места. Он намекнул школьному совету о своих намерениях, но так как образованного молодого человека с незапятнанной репутацией в то время отыскать было нелегко, то он согласился остаться до конца учебного года. Никто не знал о планах учителя, кроме единственного его друга, доктора Дюшена, молодого врача-креола, которого жители Уингдэма звали Дюшени. Он никогда не говорил об этом

ни миссис Морфер, ни Клити, ни кому-либо из учеников. Его молчание объяснялось отчасти природной сдержанностью, отчасти желанием избежать расспросов и назойливого любопытства, отчасти же тем, что он привык не доверять самому себе, пока не выполнит задуманного.

Он старался не думать о Млисс. Повинуясь эгоистическому инстинкту, он считал своё чувство к ребёнку глупым, романтическим и безрассудным. Ему казалось даже, что она будет учиться лучше под началом старшего по возрасту и более строгого учителя. К тому же ей было около одиннадцати лет, и, по законам Красной горы, через три-четыре года она уже могла считаться взрослой женщиной. Свой долг он исполнил. После кончины Смита он написал его родственникам и получил одно письмо от тётки Млисс. Изъявляя благодарность учителю, она писала, что через несколько месяцев собирается переехать из Восточных штатов в Калифорнию вместе с мужем. Это слегка изменяло архитектуру воздушного замка, построенного учителем для Млисс, но всё же было нетрудно представить, что какая-нибудь сердечная и любящая женщина, к тому же родственница, скорее сумеет взять в руки эту своевольную натуру. Однако, когда учитель читал это письмо, девочка слушала равнодушно и без возражений, а потом вырезала из него несколько фигурок, изображавших Клитемнестру, и, подписав во избежание ошибки: «белобрыся», наклеила их на стены школы.

Лето было на исходе, в долинах собрали последнюю жатву, и учитель вспомнил, что пора и ему пожинать плоды и устраивать праздник урожая, иначе говоря — экзамены. И вот учёные джентльмены и многоопытные дельцы Сми-



това Кармана собрались смотреть, как в силу освящённого веками обычая робких детей будут запугивать, точно свидетелей на суде.

Как всегда в таких случаях, почести достались тем, кто был смелее и меньше робел. Читателю нетрудно будет представить себе, что на этот раз Млисс и Клити были впереди других и привлекали внимание зрителей: Млисс — ясным и практическим умом, Клити — безмятежной самоуверенностью и благочестивой скромностью манер. Остальные дети смущались и путались. Конечно, живость и блестящие способности Млисс покорили большинство зрителей и вызвали шумные аплодисменты. История Млисс невольно будила живейшее чувство симпатии среди тех, которые жались к стенам, подпирая их могучими плечами, или заглядывали с улицы в окно, давая зрителям возможность любоваться своими великолепными бородами. Но популярность Млисс была подорвана одним непредвиденным обстоятельством.

Мак-Снэгли сам напросился на экзамены и испытывал немалое удовольствие, пугая самых робких школьников непонятными и двусмысленными вопросами, которые задавал наводящим ужас похоронным голосом. Млисс отвечала по астрономии и парила в заоблачных сферах, рассказывая о пути нашей планеты в пространстве и о движении ее спутников по орбитам, когда Мак-Снэгли внушительно поднялся с места.

— Мелисса! Ты говорила о вращении нашей земли и движении солнца, и, как мне послышалось, ты сказала, что оно не останавливалось ни на минуту с сотворения мира? — Млисс небрежно кивнула головой. — Так ли это? — сказал Мак-Снэгли, скрещивая руки на груди.

— Да, — ответила Млисс и крепко сжала свои красные губы. Великолепные бородачи в окнах подались вперёд, и один из них, с рафаэлевски-благообразным лицом, белокурой бородой и кроткими синими глазами, первый бездельник на приисках, повернулся к девочке и шепнул:

— Стой на своём, Мелисса!

Достопочтенный джентльмен испустил глубокий вздох, сострадательно взглянул на учителя, потом на детей и, наконец, остановил свой взгляд на Клити. Молодая особа не спеша подняла свою полную белую руку. Обольстительная полнота её ручки оттенялась массивным браслетом из самородного золота — подарком одного из самых смиренных поклонников, надетым по случаю экзамена. На минуту всё стихло. Круглые щёчки Клити рдели таким нежным румянцем. Большие голубые глаза Клити так ярко блестели. Открытое муслиновое платье Клити так мягко облегалo пышные белые плечики. Клити посмотрела на учителя, и он кивнул. Тогда Клити сказала нежным голосом:

— Иисус Навин велел солнцу остановиться, и оно повиновалось ему!

В классе послышался тихий гул одобрения, лицо Мак-Снэгли выразило торжество, лицо учителя омрачилось, и из окон повеяло комическим разочарованием. Млисс громко захлопнула книгу. Мак-Снэгли застонал, в классе изумлённо ахнули, и за окном раздался вопль, когда Млисс стукнула красным кулачком по парте и торжественно объявила:

— Враки! Я этому не верю.

Долгий сезон дождей подходил к концу. Приближение весны было заметно по набухшим почкам и бурлящим потокам. Из сосновых лесов тянуло свежей хвоей. На азалиях уже наливались почки, и цианотус готовил к весне свою лиловую ливрею. На зелёном ковре, покрывавшем южные склоны Красной горы, снова поднялись среди лапчатых листьев высокие стрелы волчьего корня и снова распустили свои тёмносиние колокольчики. Над могилой Смита снова колыхались мягкие зелёные волны, и гребни их были подёрнуты пеной маргариток и лютиков. На маленьком кладбище за этот год появились новые жильцы, и холмики попарно жались к низенькой ограде, доходя почти до могилы Смита, которая была в стороне от других. Все по какому-то суеверному чувству избегали этой могилы, и место рядом с нею оставалось не занятым.

По городу были расклеены афиши, извещавшие, что в скором времени известной драматической труппой представлено будет несколько «гомерически весёлых фарсов», а кроме того, для разнообразия дана будет мелодрама и большой дивертисмент с пением, танцами и пр. Эти афиши вызвали большое волнение среди малышей, и о них много говорили и возбуждённо спорили в школе. Учитель обещал Млисс, для которой такие зрелища были в диковинку, взять её в театр, и оба они присутствовали на этом торжественном спектакле.

Спектакль был скучный и посредственный: мелодрама была не настолько плоха, чтоб вызвать смех, и не так хороша, чтобы её можно было смотреть с увлечением. Однако учитель,

взглянув от скуки на девочку, был изумлён и даже почувствовал себя виноватым в чём-то, заметив, как действует представление на её впечатлительную натуру. Горячая краска заливала её щёки с каждым биением сердца. Губы слегка раскрылись, и сквозь них вырывалось учащённое дыхание. Чёрные брови изумлённо поднялись над широко раскрытыми глазами. Она не смеялась унылым шуткам комика; Млисс вообще редко смеялась. Она не прикладывала украдкой к глазам уголок белого платочка, как чувствительная Клити, которая, беседуя со своим кавалером, в то же время нежно поглядывала на учителя.

Но когда спектакль кончился и зелёный занавес опустился над маленькой сценой, Млисс вздохнула глубоким, долгим вздохом, устало потянулась и с виноватой улыбкой обратила к учителю своё серьёзное лицо.

— А теперь проводите меня домой! — сказала она, опустив чёрные глаза, словно для того, чтобы пережить ещё раз всё происходившее на сцене.

По дороге к дому миссис Морфер учитель счёл нужным высмеять представление. Неужели Млисс думает, что молодая леди, которая так прекрасно играла, в самом деле любит этого нарядного джентльмена? Если она в самом деле его любит, это сущее несчастье.

— Почему? — спросила Млисс, поднимая опущенные глаза.

— Как же, ведь он не сможет на своё теперешнее жалованье содержать жену и нарядно одеваться, да и платить им станут меньше, если они поженятся. Впрочем, — прибавил учитель, — он, должно быть, женат на ком-нибудь другом. По-моему, муж молодой графини проверяет би-

леты у входа, поднимает занавес, гасит свечи или делает ещё что-нибудь столь же утончённое и изящное. Что же касается молодого человека в таком нарядном костюме, — а костюм этот и в самом деле очень наряден и стоит доллара два с половиной, а то и все три, не говоря уж о плаще из красной материи, я такую покупал на занавески и знаю, сколько она стоит, — что до этого человека, Лисси, так он действительно красавец, и если запивает иной раз, то нельзя же, пользуясь этим, толкать его в канаву или подставлять ему синяки. Как ты думаешь? Если бы он мне был должен два с половиною доллара, я не стал бы его этим попрекать при всех, как сделал один человек в Уингдэме.

Девочка схватила учителя за руку и пыталась заглянуть ему в лицо, но он упорно отворачивался. Млисс имела некоторое представление об иронии, она и сама не лишена была едкого юмора, сквозившего подчас как в её словах, так и в поступках. Но учитель продолжал разговор в том же духе, пока они не дошли до дома миссис Морфер, а там поручил Млисс её материнским заботам. Отклонив приглашение миссис Морфер отдохнуть и закутить и заслоняясь рукой от взглядов голубоглазой сирены Клити, он извинился и ушёл домой.

В течение двух или трёх дней после приезда драматической труппы Млисс опаздывала в школу, а в пятницу учитель не смог пойти на прогулку, оставшись на этот раз без своего опытного проводника. Складывая книги и собираясь уходить из школы, он услышал рядом с собой тоненький голосок:

— Извините, сэр!

Учитель обернулся и увидел Аристида Морфера.

— Ну, малыш, — сказал нетерпеливо учитель, — говори скорей, в чём дело?

— Извините, сэр, мы с Кэргом думаем, что Млисс опять наострила лыжи.

— Что такое, сэр? — сказал учитель с тем несправедливым раздражением, с которым мы всегда встречаем неприятную новость.

— Да, сэр, она совсем не бывает дома, и мы видели, как она разговаривала с одним актёром. Она и сейчас с ним, а вчера, сэр, она хвастала, будто умеет декламировать не хуже мисс Селестины Монморесси, и жарила стихи прямо наизусть.

Тут малыш замолчал и разинул рот в ошолоблении.

— С каким актёром? — спросил учитель.

— С тем, у которого блестящая шляпа. И волосы. И золотая булавка. И цепочка для часов, — ответил правдивый Аристид, ставя точки вместо запятых, чтобы перевести дыхание.

Учитель надел шляпу и перчатки и с неприятным чувством удушья в груди вышел из школы. Аристид семенил своими короткими ножками за учителем, стараясь не отставать. Вдруг учитель неожиданно остановился, и Аристид наскочил на него.

— Где они разговаривали? — спросил учитель, словно беседа их не прерывалась.

— В «Аркадии», — ответил Аристид.

Когда они вышли на главную улицу, учитель остановился.

— Беги домой, — сказал он мальчику, — если Млисс там, ты придёшь в «Аркадию» и скажешь мне. Если её там нет, оставайся дома. Ну, беги!..

Коротконогий Аристид пустился рысью домой. «Аркадия» была как раз через дорогу — длинное строение, в котором помещались бар, ресторан и биллиардная. Переходя через площадь, молодой человек заметил, что двое или трое прохожих обернулись и посмотрели ему вслед. Он оглядел свой костюм и, прежде чем войти в бар, достал платок и вытер лицо. Как обычно, в баре было несколько человек завсегдаев, которые уставились на него, как только он вошёл. Один из них смотрел так пристально и с таким странным выражением, что учитель остановился, разглядывая его, и только тут заметил, что это его собственное отражение в большом зеркале. Учитель подумал, что он, верно, взволнован, и, захватив со стола «Знамя Красной горы», пробежал столбец объявлений, чтобы дать себе время успокоиться. Потом он прошёл через бар и ресторан в биллиардную. Девочки там не было. В биллиардной возле одного из столов стоял человек в блестящем цилиндре с широкими полями. Учитель узнал в нём антрепренёра драматической труппы, которого невзлюбил с первой встречи за манеру как-то особенно подстригать волосы и бороду.

Убедившись, что здесь не было той, которую он ищет, учитель подошёл к человеку в цилиндре. Тот заметил учителя, но попытался сделать вид, будто не замечает, что редко удаётся людям невоспитанным. Поигрывая кием, он притворялся, что целится в шар посередине биллиарда. Учитель стал против него, и когда тот поднял глаза и они встретились взглядом, подошёл ближе.

Он не хотел начинать сцены или ссоры, но как только заговорил, что-то клубком подкатилось у него к горлу, и он испугался собствен-

ного голоса — так глухо и отчуждённо он прозвучал.

— Насколько мне известно, — начал он, — Мелисса Смит, сирота и одна из моих учениц, говорила с вами о своём намерении стать актрисой. Это правда?

Человек в цилиндре опёрся на стол и сделал фантастический выпад кием, от которого шар закружился и помчался вдоль бортов биллиарда. Обойдя кругом стола, он поймал шар и водворил его на место. Покончив с этим и снова нацелившись, он спросил:

— Ну так что же из этого?

Учитель снова почувствовал удушье, но сдержался и, сжимая борт биллиарда рукой в перчатке, продолжал:

— Если вы джентльмен, мне довольно будет сказать вам, что я — опекун Мелиссы и отвечаю за неё. Вам не хуже моего известно, какую жизнь вы предлагаете ей. Первый встречный здесь скажет вам, что мне удалось спасти её от того, что хуже смерти, — от улицы, от грязи порока. Я ещё раз попробую это сделать. Поговорим, как подобает мужчинам. У неё нет ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестёр. Что вы дадите ей взамен?

Человек в цилиндре осмотрел кончик кия, потом оглянулся по сторонам, нет ли поблизости кого-нибудь, кто мог бы посмеяться вместе с ним.

— Я знаю, она странная, своевольная девочка, — продолжал учитель, — но теперь она стала лучше, чем была. Думаю, что я ещё не потерял на неё влияния. Надеюсь, что вы, как джентльмен, не станете больше вмешиваться в это дело. Я согласен... — Но тут клубок снова подкатился к горлу учителя, и фраза осталась



недоконченной. Человек в цилиндре, не понимая молчания учителя, поднял голову, засмеялся грубо и хрипло и громко сказал:

— Самому понадобилась, а? Этот номер не пройдёт, молодой человек.

Оскорбительны были не столько слова, сколько тон, и не столько тон, сколько взгляд, скорее даже его грубость или всё это вместе взятое. Такого рода скоты лучше понимают красноречие удара, чем всякое другое красноречие. Учитель это почувствовал и, дав выход накопившемуся раздражению, ударил актёра прямо в ухмыляющееся лицо. Цилиндр полетел в одну сторону, кий в другую, и учитель, разорвав перчатку, до крови ободрал себе руку. Рот у джентльмена в цилиндре был рассечён, и холёная борода надолго утратила свою оригинальную форму.

Раздался крик, проклятие, шум драки и топот ног. Потом толпа расступилась, и два выстрела резко прозвучали один за другим. Тогда толпа опять сомкнулась вокруг актёра, и учитель остался один. Он помнит, что снимал с рукава клочки дымящегося пыжа левой рукой. Кто-то держал другую его руку. Взглянув на эту руку, он увидел, что она вся в крови от удара и что пальцы его стискивают рукоятку блестящего ножа. Он не мог понять, откуда взялся этот нож.

Оказалось, что руку его держит мистер Морфер. Он подгалкивал учителя к дверям, но тот упирался и, едва шевеля пересохшими губами, что-то говорил насчёт Млисс.

— Всё в порядке, мой милый, — сказал мистер Морфер. — Она дома!

И они вместе вышли на улицу. По дороге мистер Морфер рассказал, что Млисс прибежала

домой несколько минут тому назад и потащила его за собой, говоря, что учителя убивают в «Аркадии».

Учителю хотелось остаться одному и, пообещав мистеру Морферу не разыскивать сегодня антрепренёра, он простился с ним и повернул на дорогу, которая вела к школе. Подойдя к дому, он удивился, увидев, что дверь открыта, и ещё больше удивился, увидев, что там сидит Млисс.

Характер учителя, на что я намекал и раньше, основывался на эгоизме, как у большинства чувствительных натур. Грубая насмешка, только что брошенная ему противником, всё ещё жгла его сердце. Возможно, думал он, что именно так перетолковывают его привязанность к ребёнку, и без того неразумную и донкихотскую. Кроме того, разве она сама сколько-нибудь считается с его авторитетом, с его привязанностью? Что о ней говорят? Почему он один должен идти наперекор общему мнению, для того чтобы, наконец, молча признать, что все они были правы? Что он хотел доказать этой дракой в кабаке с каким-то дикарём? И что он доказал? Ровно ничего. Что скажут люди? Что скажут его друзья? Что скажет Мак-Снэгли?

В таком покаянном настроении он меньше всего хотел видеть Мелиссу. Затворив за собой дверь, он подошёл к своему столу и холодно и резко сказал ребёнку, что хочет остаться один. Она встала; учитель занял её место и сел за стол, опустив голову на руки. Когда он поднял глаза, Млисс всё ещё стояла перед ним. Она тревожно смотрела ему в лицо.

— Вы его убили? — спросила она.

— Нет! — сказал учитель.

— Для чего же я дала вам нож? — возразила она живо.

— Дала мне нож? — в изумлении повторил учитель.

— Да, нож. Я сидела там под стойкой. Видела, как вы его ударили. Как вы оба упали. Он уронил свой нож. Я дала этот нож вам. Почему же вы его не прикололи? — быстро говорила Млисс, энергично взмахивая своей красной ручкой и выразительно сверкая глазами.

Учитель, онемев от изумления, взглянул на неё.

— Да, — сказала Млисс, — если б вы спросили, я бы призналась вам, что уезжаю с актёрами. А почему? Потому что вы не захотели сказать мне, что уезжаете отсюда. Я это знала, я слышала, что вы говорили доктору. Я не желаю здесь оставаться одна, с этими Морферами. По мне лучше умереть.

• Драматическим движением, вполне соответствовавшим её характеру, она вытащила из-за пазухи горсть увядших зелёных листьев и, держа их в протянутой руке, сказала с живостью и с той странной интонацией, которая всегда проскальзывала в её речи, когда она волновалась.

— Вот он, ядовитый корень, — вы сами сказали, что им можно отравиться. Я уеду с актёрами или проглочу эти листья и тут же умру. Мне всё равно. Я здесь не останусь, все они презирают и ненавидят меня! И вы тоже, иначе вы меня не пустили бы. — Грудь Мелиссы дышала неровно, две крупные слезы повисли на ресницах, но она смахнула их уголком фартука, словно это были осы.

— Если вы засадите меня в тюрьму, — в ожесточении говорила Меллиса, — чтоб я не

сбежала с актёрами, я отравлюсь. Отец застрелился, почему же я не могу отравиться? Вы сказали, что от горсточки этого корня можно умереть, и я всегда ношу его с собой, — она ударила себя в грудь сжатым кулачком.

Учитель подумал о пустующем месте рядом с могилой Смита, о непокорной девочке, стоявшей перед ним. Он схватил её за руки и, глядя ей прямо в правдивые глаза, спросил:

— Лисси, поедешь со мной?

Девочка обвила руками его шею и радостно ответила «да».

— Сегодня — сейчас?

— Сейчас.

И рука об руку они вышли на дорогу, на ту узкую дорогу, которая привела когда-то её усталые ноги к дверям учителя и на которую она больше не выйдет одна.

Звёзды ярко сияли над ними. К добру или к худу, урок был выучен, и двери школы на Красной горе навсегда закрылись за ними.

## КОМПАНЬОН ТЕНЕССИ

**В**ряд ли кто-нибудь из нас помнил его настоящее имя. Это неведение, конечно, не причиняло нам ни малейших неудобств, потому что в 1854 году большинство обитателей Сэнди-Бара было окрещено заново. Иногда прозвище давалось по какой-нибудь особенности в одежде, как это было в случае с «Нанковым Джеком», или вследствие каких-нибудь чудачеств; например, «Содового Билла» прозвали так потому, что он валил несуразное количество соды в хлеб свой насущный; или из-за простой оговорки, чему свидетельством был «Железный Пират» — тихий, безобидный человек, обязанный своей кличкой неправильному произношению слов «железный пирит». Прозвища эти могли бы лечь в основу примитивной геральдики; но я всё-таки склонен объяснить пристрастие к ним тем обстоятельством, что в то время узнать имя человека можно было только с его собственных, никем и ничем не подтверждённых слов.

— Так тебя, говоришь, зовут Клиффордом? — с бесконечным презрением обратился Бостон к одному скромному новичку. — Такими Клиффордами в преисподней хоть пруд пруди! — И тут

же заклеил несчастного юношу, которого на самом деле звали Клиффорд, прозвищем «Врун Чарли» — и эта кличка, рождённая минутным вдохновением нечестивца Бостона, так и пристала к Чарли Клиффорду на всю его жизнь.

Но вернёмся к Компаньону Тенесси, которого мы только и знали под этим именем, выражавшим его отношение к третьему лицу; то, что он существует сам по себе, как индивидуальность, и довольно яркая, стало ясно всем гораздо позднее. Кажется, в 1853 году он отправился из Покер-Флета в Сан-Франциско подыскать себе жену. Но дальше Стоктона не уехал. Здесь его пленила одна молодая особа, прислуживавшая за столиками в ресторане, куда Компаньон Тенесси ходил обедать. Однажды утром он сказал ей что-то такое, что заставило её улыбнуться отнюдь не сурово, не без некоторого кокетства опрокинуть блюдо с гренками прямо на обращённую к ней серьёзную, простоватую физиономию и скрыться на кухню. Он последовал за ней и через несколько минут вернулся увенчанный всё теми же гренками и лаврами победы. Неделью спустя судья обвенчал, и молодые супруги возвратились в Покер-Флет. Я знаю, что эпизод этот можно было бы передать как-нибудь иначе, но предпочитаю изложить его так, как он излагался в Сэнди-Баре — на заявках и в салунах, где всякие сентименты умеряются сильно развитым чувством юмора.

О супружеском блаженстве этой пары мало что известно, вероятно потому, что Тенесси, который жил тогда со своим компаньоном, вскоре обратился к новобрачной с какими-то словами, на которые, говорят, она улыбнулась отнюдь не сурово и целомудренно скрылась, на этот раз в Мэ-

рисвилл, куда за ней последовал и Тенесси и где они зажили вдвоём без участия в этом деле судьи. Компаньон Тенесси принял потерю жены, как принимал и многое другое, — просто и серьёзно. Но когда Тенесси в один прекрасный день вернулся из Мэрисвилла без жены своего компаньона, — она улыбнулась кому-то третьему и с ним же и скрылась, — Компаньон Тенесси ко всеобщему изумлению первый дружески встретил его и пожал ему руку. Публика, собравшаяся в кэньоне поглазеть на побоище, естественно, вознегодовала. Чувство это могло бы вылиться в форме саркастических замечаний, но взгляд Компаньона Тенесси ясно говорил, что он не способен оценить такой юмор. Да вообще Компаньон Тенесси был человек серьёзный, склонный всегда становиться на путь практических мероприятий, что, в случае каких-либо недоразумений с ним, сулило много хлопот.

Между тем общественное мнение Сэнди-Бара становилось неблагоприятным для Тенесси. Все знали, что он картёжник, начинали подозревать его и в воровстве. Всё это в равной степени компрометировало и Компаньона Тенесси: их дружбу, не прекратившуюся и после вышеизложенных событий, можно было объяснить только сообщничеством в преступлениях. Наконец проступки Тенесси стали совершенно явными. Однажды он догнал на дороге какого-то человека не из здешних мест, направлявшегося в посёлок Рыжая Собака. Человек этот рассказывал впоследствии, что Тенесси развлекал его в пути разными анекдотами и воспоминаниями о прежних годах и вдруг ни с того ни с сего закончил беседу следующими словами:

— А теперь, молодой человек, потрудитесь

отдать мне ваш пистолет, нож и деньги. Чего доброго, попадёте в беду с таким оружием, а на деньги ваши в Рыжей Собаке, пожалуй, позарятся какие-нибудь мошенники. Вы как будто говорили, что проживаете в Сан-Франциско? Постараюсь вас навестить как-нибудь.

Следует сказать, что у Тенесси было недюжинное чувство юмора, которое не оставляло его даже тогда, когда он занимался серьёзными делами.

Это был его последний подвиг. Рыжая Собака и Сэнди-Бар объединились против грабителя. На Тенесси устроили облаву, как на гризли. Видя, что сети опутывают его всё туже и туже, он сделал отчаянную попытку прорваться сквозь посёлок, разрядив револьвер в толпу, собравшуюся у салуна «Аркадия», и убежал в Медвежий кэньон; но в конце кэньона путь ему преградил маленький человек на серой лошади. С минуту они молча смотрели друг на друга. И тот и другой были неустрашимы, хладнокровны, уверены в себе; и тот и другой являлись прекрасными образцами той цивилизации, которую в семнадцатом веке называли бы героической, а в девятнадцатом попросту бесшабашной.

— Ну, покажи свою игру!

— Приравниваю! — спокойно ответил Тенесси.

— Два козыря и туз, — не менее спокойно сказал незнакомец, показывая два револьвера и охотничий нож.

— Моя карта бита, — сказал Тенесси; и, отпустив эту игрецкую шуточку, швырнул в сторону незаряженный револьвер и отправился назад в сопровождении своего поимщика.

Был тёплый вечер. Прохладный ветерок, поднимавшийся обычно с заходом солнца из-за по-



росших густым чапаралем гор, на этот раз миновал Сэнди-Бар. В узком кэньоне стоял душный запах смолы, прибитые к берегам брёвна гнили, и от реки шли слабые, тошнотворные испарения. Лихорадочная суматоха и бурные страсти этого дня всё ещё бушевали в посёлке. Вдоль берега, не отражаясь в мутной воде, сновали с места на место огоньки. Окна чердака над почтовой конторой ярко светились, выступая из-за тёмных сосен; и сквозь незанавешенные стёкла публика, собравшаяся внизу, могла видеть фигуры тех, от кого зависела участь Тенесси. А сверху, надо всем этим, вырисовываясь на тёмном небосводе, вставала Сиерра, далёкая и бесстрастная, увенчанная ещё более далёкими и бесстрастными звёздами.

Суд над Тенесси вёлся настолько добросовестно, насколько это совпадало с желанием судьи и присяжных хоть как-нибудь оправдать в приговоре недостаточную формальную обоснованность обвинительного заключения. Закон Сэнди-Бара разил неумолимо, но не мстил. Азарт и возбуждение, рождённые охотой на преступника, улеглись; заполучив Тенесси в свои руки, эти люди готовы были терпеливо выслушать любую речь в его защиту, заранее уверенные, что она будет недостаточно убедительной. Не сомневаясь в виновности подсудимого, они, тем не менее, охотно давали ему возможность использовать в своих интересах любое колебание мнений. Уверенность в том, что преступнику не миновать петли, позволяла предоставить ему такие возможности защищаться, каких этот смельчак даже не требовал. По всему было видно, что судья озабочен происходящим гораздо больше, чем сам подсудимый, который, не выказывая никакого интереса к ходу дела, по-

видимому, испытывал мрачное удовольствие, видя, какую ответственность он налагает на других.

— Я в этой игре не участвую, — таков был его неизменный, но добродушный ответ на все вопросы. Судья — он же и поимщик Тенесси — на минуту почувствовал смутное сожаление, что не разделался с ним на месте в то самое утро, однако сумел побороть в себе эту человеческую слабость, сочтя её несовместимой с достоинством служителя закона. Таким образом, когда слышался стук в дверь и выяснилось, что Компаньон Тенесси хочет выступить в пользу подсудимого, его допустили в зал суда без всяких возражений. Присяжные помоложе, начинавшие ощущать томительную скуку от всей этой процедуры, могли только приветствовать появление Компаньона Тенесси.

Вид у него был непрезентабельный. Приземистый, коренастый, с квадратным, противоестественно-красным от загара лицом, в мешковато сидевшей парусиновой куртке и запачканных, забрызганных красной глиной штанах, Компаньон Тенесси при любых обстоятельствах мог показаться фигурой весьма странной, а сейчас он был просто смешон. Когда он нагнулся поставить на пол тяжёлую козловую сумку, все убедились, глядя на полустёртые буквы и надписи на заплатках, которыми пестрели его штаны, что материал этот первоначально предназначался для менее возвышенных целей. Однако он прошёл вперед с весьма степенным видом и, учтиво поздоровавшись за руку со всеми присутствующими, вытер своё серьёзное, озабоченное лицо красным платком, чуть уступавшим в яркости цвету его щёк, оперся могучей рукой о стол и обратился к судье со следующими словами:

— Я проходил мимо, — начал он, словно извиняясь, — дай, думаю, зайду, надо посмотреть, как обернётся дело Тенесси, моего компаньона. Жаркий вечер! Что-то и не припомню такой жары в здешних местах.

Компаньон Тенесси немного помолчал. Но так как никто из присутствующих не отважился предаться вместе с ним метеорологическим воспоминаниям, он снова прибег к помощи платка и некоторое время старательно вытирал лицо.

— Вы имеете что-нибудь сказать о подсудимом? — наконец спросил его судья.

— Вот, вот! — с облегчением в голосе заговорил он. — Я ведь компаньон Тенесси, знаю его почти четыре года, насквозь знаю, как облупленного, и в беде и в счастье с ним был. Не по душе мне некоторые его повадки, что правда, то правда, но в этом молодом человеке нет ни одной чёрточки, которой я не знал бы. Все его проделки мне известны. И когда вы спрашиваете меня, откровенно, как мужчина мужчине: «А что вам известно о нём?» — то я говорю — откровенно, как мужчина мужчине: «А что человек может знать о своём компаньоне?»

— И это всё, что вы хотели сказать? — нетерпеливо спросил судья, вероятно опасаясь, что вместе с чувством юмора к присяжным вернётся и человеческая мягкость.

— Да, примерно всё, — продолжал Компаньон Тенесси. — Не мне осуждать его. А собственно говоря, из-за чего всё началось? Вот Тенесси нужны деньги, позарез нужны, а одолжаться у своего старого компаньона он не хочет. Так что же Тенесси делает? Он подкарауливает какого-то чужака, и он с этим чужаком разделяется по-своему. А вы подкарауливаете Тенесси и тоже разделяетесь с ним по-своему; шансы равные.

И вот я, как человек рассудительный, спрашиваю вас, джентльмены, а вы тоже люди рассудительные, — так это или не так?

— Подсудимый, — прервал его судья, — есть у вас вопросы к этому человеку?

— Нет, нет! — заторопился Компаньон Тенесси. — Я сам по себе пришёл. А суть дела вот в чём: Тенесси круто обошёлся с чужаком, тому это недёшево стало, да и посёлку не дешевле. Так как же теперь уладить всё по-честному? Одни скажут так, другие — этак. Вот у меня здесь золота на тысячу семьсот долларов и часы, — почти всё моё богатство, — разочтёмся как следует! — И прежде чем кто-нибудь мог помешать ему, Компаньон Тенесси высыпал содержимое сумки на стол.

Одно мгновение жизнь его висела на волоске. Двое-трое вскочили со своих мест, несколько рук потянулось к револьверам, и предложение «вышвырнуть его в окно» не было приведено в исполнение только благодаря предостерегающему жесту судьи. Тенесси хохотал. А компаньон его, повидимому, нисколько не смущаясь общей суматохой, опять вытер платком лицо.

Когда порядок был восстановлен и этому человеку, наконец, вдолбили, что преступление Тенесси не искупить деньгами, лицо его омрачилось и стало совсем багровым; те, кто стоял рядом с ним, заметили, что его мозолистая рука, опиравшаяся на стол, дрогнула. Неторопливо убирая золото обратно в сумку, он вдруг остановился в нерешительности, словно всё ещё не вполне уяснив себе возвышенные чувства, обуревавшие справедливых судей, и растерянно соображая, не мало ли он предложил? Потом повернулся к судье со словами:

— Я сам по себе пришёл, мой компаньон тут

ни при чём, — поклонился присяжным и хотел было выйти, но судья остановил его:

— Если вы хотите поговорить с Тенесси, говорите сейчас.

Впервые за всё время глаза подсудимого встретились с глазами его странного адвоката. Тенесси улыбнулся, показав свои белые зубы, и со словами «плохая карта, дружище!» протянул руку. Компаньон Тенесси принял её и сказал: — Шел мимо, дай, думаю, загляну, надо посмотреть, как тут дела обернутся, — потом добавил, что «ночь душная», снова вытер лицо платком и молча удалился.

При жизни эти два человека больше не встретились, ибо неслыханно оскорбительная попытка подкупить судью Линча окончательно укрепила решение, принятое этой мифической личностью относительно дальнейшей судьбы Тенесси. И на рассвете Тенесси препроводили под надёжным конвоем для встречи с этой судьбой на вершину Марли-хилла.

Как произошла эта встреча, с каким хладнокровием держался Тенесси, как он отказался сказать что-нибудь, насколько комитет справился со своей задачей, — всё это, с присовокуплением морали и предостережений на будущее всем злоумышленникам, было соответственным образом изложено редактором «Глашатая Рыжей Собаки», который находился в числе зрителей на вершине Марли-хилла, и я с лёгким сердцем отсылаю читателя к его бурным словоизвержениям. Но прелесть летнего утра, сладостная гармония земли, воздуха и неба, пробуждающиеся к жизни вольные леса и горы, ликование обновлённой природы и бесконечное спокойствие в вышине не попали на страницы газеты, будучи явлениями мало поучительными.

И всё же, когда жалкое и безумное деяние свершилось и жизнь с её надеждами покинула бесформенное тело, повисшее между небом и землёй,—птицы пели, цветы благоухали, солнце светило так же радостно, как и всегда; и весьма возможно, что «Глашатай Рыжей Собаки» был прав.

Компаньона Тенесси не было в толпе, окружавшей зловещее дерево. Но когда люди стали расходиться, внимание их привлекла недвижно стоявшая у дороги тележка, запряжённая ослом. Подойдя ближе, все узнали в почтенной Джинни и двуколке собственность Компаньона Тенесси, служившую ему для съеза с участка отработанной земли; а ещё подальше, под каштаном, вытирая пот с лоснящегося лица, сидел и сам хозяин экипажа. Отвечая на вопросы, он сказал, что приехал за телом покойного, если комитет не будет противиться. Он никого не хочет торопить; он подождёт. Он сегодня не работает, и как только джентльмены кончат свое дело, он заберёт покойника.

— Если кто-нибудь пожелает присутствовать на похоронах, — добавил Компаньон Тенесси, как всегда просто и серьёзно, — пусть приходит.

Возможно, что тут заговорило чувство юмора, которым, как я уже отмечал, славился Сэнди-Бар, возможно, что-нибудь большее, но две трети зрителей сразу же приняли приглашение.

В полдень тело Тенесси передали его компаньону. Как только тележка подъехала к роковому дереву, мы увидели, что в ней стоит продолговатый ящик, очевидно, кое-как сколоченный из досок промывного жолоба и набитый до половины древесной корой и хвоей. Сама тележка была украшена ветками ивы и благоухающего каштана. Когда тело положили в

ящик, Компаньон Тенесси, храня глубокую серьёзность, прикрыл его просмолённым брезентом, взобрался на узенькое переднее сиденье и, поставив ноги на оглобли, стегнул ослицу вожжами. Экипаж двинулся с той благопристойной медлительностью, которая была свойственна Джинни даже при менее торжественных обстоятельствах. Провожающие — отчасти из любопытства, отчасти ради шутки, но все настроенные добродушно — потянулись рядом с тележкой; кто шёл впереди этого убогого катафалка, кто сзади. Но по мере того как он двигался, провожающие — потому ли, что дорога была узкая, или повинувшись чувству благопристойности — выстроились парами позади тележки, не отставая и не забегая вперёд и по внешнему виду ничем не отличаясь от обычной похоронной процессии. Джек Фолинсби, вначале вздумавший было мимически изобразить похоронный марш на воображаемом тромбоне, завял, не встретив сочувствия и восхищения, — он, повидимому, не обладал даром истинного юмориста, умеющего обходиться без аудитории.

Дорога проходила Медвежьим кэньоном, в это время дня уже укутанным в траурные сумерки и тени. Вдоль пути, вытянувшись гуськом, стояли секвойи, зарывшие свои мохнатые ноги в красную землю; их склонённые ветви задевали гроб, посылая ему неуклюжее благословение. Заяц застыл на месте от испуга и, дрожа всем телом, следил за кортежем из придорожных зарослей папоротника. Белка вскарабкалась на самые верхние ветви секвойи, чтобы оттуда лучше рассмотреть процессию, сойки, расправив крылья, понеслись вперёд, точно фореиторы, и вот катафалк выехал на окраину Сэнди-Бара и поврвнялся с хижинной Компаньона Тенесси.

Даже при более благоприятных обстоятельствах место это не показалось бы весёлым. Унылый вид, убогие топорные очертания, непривлекательные детали свойственны всем жилищам калифорнийских золотоискателей, а тут всё было ещё и заброшено, запущено и казалось от этого ещё печальнее. В нескольких шагах от хижины виднелась грубая изгородь, окружающая то, что в недолгие дни супружеского счастья Компаньона Тенесси служило ему садом; сейчас этот сад порос папоротником. Подойдя ближе, мы с изумлением увидели, что кучка земли, казавшаяся издали результатом чьих-то попыток вскопать грядку, лежала у края свежерытой могилы.

Тележка остановилась перед изгородью; отклонив предложение помочь ему, Компаньон Тенесси всё с той же простотой и с тем же спокойным достоинством взвалил на плечи неуклюжий гроб и один, без посторонней помощи, опустил его в неглубокую могилу. Потом он прибил гвоздями доску, служившую крышкой гроба, встал на маленький холмик рядом с могилой, снял шляпу и медленно вытер платком лицо. Все поняли это как приготовление к речи и, разместившись кто на пне, кто на камне, ждали, что последует дальше.

— Когда человек весь день скитался по разным местам, — медленно начал Компаньон Тенесси, — то что ему в конце концов надо сделать? Да пойти домой, конечно. А если сам он не может пойти домой, то что надо сделать его лучшему другу? Да отнести его домой! Так вот и Тенесси скитался по разным местам, а мы несём его домой после всех этих скитаний. — Он замолчал, поднял с земли кусочек кварца, задумчиво потёр его о рукав и заговорил даль-



ше: — Мне не в первый раз нести его на своих плечах. Не в первый раз тащить его в хижину, когда он и пальцем шевельнуть не может; нам с Джинни не впервой поджидать его на холме и везти домой, когда он и языком не ворочает и меня не узнает. А вот сейчас мы делаем это в последний раз, — он замолчал и тихонько потёр кусочек кварца о рукав, — и оно, знаете, получается немного круто для его компаньона... А теперь, джентльмены, — отрывисто добавил он и поднял лопату с длинной ручкой, — погребение окончено; премного благодарю вас за беспокойство, и Тенесси тоже благодарит.

Отказавшись от помощи, он стал засыпать могилу и повернулся спиной к толпе, которая после минутного колебания начала постепенно расходиться. Некоторые, поднявшись на небольшую гору, которая закрывала Сэнди-Бар, оглядывались назад и уверяли, что отсюда видно Компаньона Тенесси и что он, кончив своё дело, сидит на могиле, поставив лопату между колен и закрыв лицо красным платком. Впрочем, другие утверждали, что на таком расстоянии нельзя отличить его лицо от платка, и этот вопрос остался неразрешённым.

Во время затишья, сменившего лихорадочное волнение этого дня, Компаньона Тенесси не забыли. Произведённое втайне расследование очистило его от всяких подозрений в сообщничестве с Тенесси и оставило невыясненным только вопрос о состоянии его рассудка. Сэнди-Бар повадился захаживать к нему в хижину и одолевать его неуклюжими, но дружескими услугами. Однако с того самого дня железное здоровье и сила Компаньона Тенесси начали заметно сдавать; и когда пришли дожди и на кремнистом

надгробии стали пробиваться тонкие усики травы, он слёг в постель.

Как-то ночью, в бурю, когда сосны раскачивались у хижины и проводили своими тонкими пальцами по крыше, а снизу доносился рёв взбухшей реки, Компаньон Тенесси поднял голову с подушки и сказал:

— Пора отправляться за Тенесси. Пойду запрягу Джинни. — Он встал бы с постели, если б его не удержал присматривавший за ним человек. Сопrotивляясь, он всё ещё продолжал бредить: — Ну, ну, Джинни, стой спокойно, старушка. Темно-то как! Присматривайся, где тут колея, — и про него тоже не забывай. Знаешь, ведь напьётся и рухнет прямо на дорогу. Держи вон к той сосне на верху горы. Стоп! Ведь говорил я. Вот он... идёт сюда — сам идёт, трезвый, и лицо светится. Тенесси! Компаньон!

Так они встретились.

## МИГГЛС

**Н**ас было восемь человек вместе с кучером. Последние шесть миль — считая с того момента, как подскакивание тяжёлого экипажа по рытвинам всё ухудшающейся дороги погубило очередную стихотворную цитату судьи — никто из нас не проронил ни слова. Рослый мужчина, сидевший рядом с судьёй, заснул, продев руку в раскачивающуюся петлю и поникнув на неё головой; вся его обмякшая фигура приняла крайне беспомощный вид, словно он повесился и верёвку перерезали с большим опозданием. Француженка на заднем сиденьи тоже дремала, но даже в полусне ухитрялась сохранять изящество позы и прижимала ко лбу носовой платок, закрывая им лицо. Дама из Вирджиния-Сити, путешествующая в обществе супруга, давно уже превратилась в охапку лент, вуалек, мехов и шалей. Кроме грохота колёс и стука дождевых капель о крышу, ничего не было слышно. Вдруг дилижанс остановился, до нас слабо донеслись голоса. Кучер, очевидно, вёл оживлённый разговор с кем-то, кто стоял на дороге, — разговор, из которого сквозь шум бури до нас долетали такие обрывки: «мост снесло», «двадцать футов воды», «проезда нет».

Потом всё стихло, и таинственный голос с дороги прокричал последнее заклятие:

— Мигглс! Попытайте там!

Дилижанс медленно заворачивал; перед нами промелькнула голова упряжки и всадник, сейчас же скрывшийся за дождевой завесой. Мы ехали к Мигглсу.

Но кто этот Мигглс, и где он? Наш авторитет—судья—не мог припомнить такого человека, а он знал эти места вдоль и поперёк. Пассажир из Уошо решил, что Мигглс содержит гостиницу. Всем нам было известно только одно: разлив преградил путь впереди и позади и Мигглс — сейчас наше единственное прибежище. Еще десять минут барахтанья в лужах извилистого просёлка, на котором дилижанс еле умещался, — и мы подъехали к наглухо закрытой и задвинутой на засов калитке в каменной стене или ограде футов восьми вышиной. Не оставалось никаких сомнений, что тут-то и проживает Мигглс и что этот Мигглс гостиницы ни в коем случае не содержит.

Кучер спрыгнул с козел и толкнул калитку. Она была закрыта крепко-накрепко.

— Мигглс! Эй, Мигглс!

Молчание.

— Ми-и-гглс! Эй ты, Мигглс! — продолжал кучер с возрастающей яростью.

Но бесчувственный, очевидно, Мигглс хранил молчание. Судья, ухитрившийся, наконец, опустить окно, высунул голову и предложил кучеру ряд вопросов, последовательные ответы на которые, без сомнения, помогли бы разгадать тайну; однако кучер оставил эти вопросы без внимания, сказав только, что «если мы не хотим просидеть в дилижансе всю ночь, то надо вылезать и вместе с ним кликать Мигглса».

Мы вылезли и принялись взывать к Мигглсу, сначала хором, потом поодиночке. Когда возгласы наши смолкли, пассажир, ехавший на империале, дитя иберийских стран<sup>1</sup>, крикнул «Мейгелс!», и все мы рассмеялись. Но кучер зашикал на нас.

Мы прислушались. К нашему величайшему изумлению, хор голосов, выкрикивавших слово «Мигглс» и даже заключительное, внепрограммное, «Мейгелс», повторился где-то за стеной.

— Поразительное эхо! — сказал судья.

— Поразительный прохвост, чорт его побери! — презрительно рявкнул кучер. — Ну-ка, выходи, Мигглс, покажись! Чего струсил, Мигглс! Что ты прячешься в темноте, я бы на твоём месте вышел, Мигглс! — продолжал Юба Билл, плясавший от ярости.

— Мигглс! — отозвался чей-то голос. — Эй, Мигглс!

— Послушайте, почтеннейший! Мистер Мейгел! — крикнул судья, по мере сил сглаживая шероховатость этого имени. — Неужели вы способны отказать в гостеприимстве беззащитным женщинам, которые не имеют крова над головой в эту суровую ночь? Право же, мой дорогой сэр... — но голос его потонул в криках «Мигглс, Мигглс!», завершившихся громким хохотом.

Юба Билл решил действовать. Подняв с дороги тяжёлый камень, он сбил калитку с петель и в сопровождении курьера пошёл за ограду. Мы последовали за ними. Кругом было пусто. В стущавшейся тьме мы разобрали, что нахо-

---

<sup>1</sup> *Иберийская страна* — страна Пиренейского полуострова.

димся в саду — нас обдало брызгами с залитых дождём розовых кустов перед длинным, нелепым на вид деревянным домом.

— А вы знаете этого Миггlsa? — спросил судья у Юбы Билла.

— Не знаю и знать не желаю, — отрезал Билл, считавший, что непокорный Мигглс наносит в его лице оскорбление всей Компании дилижансов.

— Однако, уважаемый сэр... — запротестовал судья, вспомнив о наглухо запертой калитке.

— Послушайте-ка, сударь, — с тончайшей иронией сказал Юба Билл, — может быть, вы вернётесь в карету и посидите там, пока вас не отрекомендуют хозяину? А я войду, — и он распахнул дверь.

Длинная комната, освещённая из дальнего угла догорающими в большом камине головешками; какие-то странные обои на стенах, причудливый узор их, мелькнувший в неверном свете камина; чья-то фигура в большом кресле у огня. Всё это мы увидели, столпившись в дверях за спинами кучера и курьера.

— Хэлло! Это вы будете Мигглс? — спросил Юба Билл единственного обитателя комнаты.

Человек ничего не ответил, даже не шевельнулся. Разгневанный Юба Билл подошёл к нему и осветил фонарём его лицо. Это было лицо, преждевременно увядшее и морщинистое, с большими глазами, полными той совершенно необъяснимой важности, которую мне приходилось наблюдать у сов. Большие глаза остановились сначала на лице Билла, потом перешли на фонарь и с бессмысленным выражением уставились на пламя.

Биллу пришлось сделать усилие, чтобы сдерживать себя.

— Мигглс! Вы что, оглохли? Только не прикидывайтесь немым, — и Юба Билл дёрнул бесчувственную фигуру за плечо.

Как только он отнял руку, почтенный незнакомец, к нашему ужасу, сразу поник, став вдвое меньше и превратившись в бесформенную кучу одежды.

— Вот оказия-то! — сказал Билл смущённо поглядывая на нас и ретируясь с безнадёжным видом.

Тогда судья выступил вперёд, и мы усадили загадочного инвалида в прежней позе. Билла услали произвести с фонарём разведку около дома, так как, судя по беспомощному состоянию этого одинокого человека, где-нибудь поблизости должны были найтись люди, которые присматривают за ним; мы же столпились вокруг огня. Судья, снова вооружившись своим авторитетом и ни на минуту не теряя общительности, стал спиной к камину и обратился к нам, словно к воображаемому суду присяжных, со следующей речью:

— Совершенно очевидно, что наш почтенный друг достиг того состояния, которое Шекспир уподобляет состоянию «увядшего пожелтого листа», или же он является жертвой преждевременного угасания всех духовных и физических способностей. Если предположить, что это и есть тот самый Мигглс...

Но в этом месте речь его была прервана возгласами: «Мигглс! Эй, Мигглс! Мигглс! Мигг!» Имя это повторялось на разные лады тем самым голосом, который мы слышали и раньше. Несколько секунд мы испуганно смотрели друг на друга. В частности, судья поспешил переменить место, так как голос шёл как будто у него из-за плеча. Однако источник этих звуков был скоро

обнаружен: на полочке, висевшей над камином сидела большая сорока, погрузившаяся теперь в гробовое молчание, которое весьма странным образом противоречило её недавней болтливости. Не оставалось никаких сомнений, что её-то голос мы и слышали на дороге, значит, наш друг, сидевший в кресле, был совершенно неповинен в этой бесцеремонной выходке. Юба Билл, который после безрезультатных поисков снова появился в комнате, нехотя выслушал это объяснение и всё ещё подозрительно поглядывал на беспомощного инвалида. Биллу удалось обнаружить на дворе сарай, и, поставив туда лошадей, он вернулся в комнату промокший до нитки и настроенный весьма скептически.

— Тут на десять миль вокруг дома ни живой души кроме него; он, прохвост, прекрасно это знает!

Но большинство из нас уже твёрдо укрепились в своей уверенности. Только-только Билл перестал ворчать, как мы услышали на крыльце быстрые шаги и шуршанье мокрой юбки. Дверь распахнулась, и, сверкнув белоснежными зубами, с искоркой в чёрных глазах, без тени чопорности или смущения, в комнату вошла молоденькая женщина. Она закрыла за собой дверь и, с трудом переводя дыхание, прислонилась спиной к притолоке.

— А вот и я — Мигглс!

Так вот что такое Мигглс! Большеглазая, молоденькая женщина, с круглой шейкой, с прекрасной фигурой, красоту которой не могло скрыть промокшее платье из грубой синей материи. Начиная с копны каштановых волос, покрытых мужской зюйдвесткой, и кончая крохотными ножками, утопающими в тяжёлых мужских башмаках, — всё в ней было грация. Так вот что та-



кое Миггс, и она смеётся, глядя на нас, самым весёлым, задорным, беззаботным смехом.

— Понимаете, в чём дело, друзья, — заговорила Миггс, всё ещё не отдышавшись как следует, прижимая к груди маленькую ручку и словно не замечая, что мы не находим слов от неожиданности, а Юба Билл, на лице которого появилось выражение ничем не объяснимого idiotского блаженства, стоит совсем обалдевший. — Понимаете, в чём дело, друзья, когда вы проехали, я была мили за две отсюда. Думала, что вы, наверное, заедете к нам и всю дорогу бежала бегом, зная, что, кроме Джима, здесь никого нет, и... и... ой, дышать нечем... — Тут Миггс сорвала с головы зюйдвестку, словно невзначай обдав нас брызгами; сделала попытку поправить волосы; уронила при этом две шпильки; рассмеялась и села рядом с Юба Биллом, сложив руки на коленях.

Первым пришёл в себя судья и отпустил ей высокопарный комплимент.

— Я попрошу вас разыскать мою шпильку, — степенно проговорила Миггс. Несколько пар рук с готовностью протянулись; шпильки были возвращены их очаровательной владелице. Миггс прошла в другой конец комнаты и пристально взгляделась в лицо больного.

Важные глаза ответили ей таким взглядом, какого мы ещё не подмечали у старика. словно жизнь и сознание затеплились в этом измождённом лице. Миггс рассмеялась; смех её был необыкновенно красноречив — снова блеснули чёрные глаза и ослепительные зубы.

— Этот человек, поражённый тяжким недугом, это... — нерешительно начал судья.

— Джим, — сказала Миггс.

— Ваш отец?

- Нет.
- Брат?
- Нет.
- Муж?

Она метнула быстрый, несколько вызывающий взгляд в сторону двух наших спутниц, которые, как видно, не разделяли восторгов мужчин по отношению к Мигглс, и сказала серьёзно:

— Нет, это — Джим!

Наступило неловкое молчание. Наши спутницы ближе придвинулись друг к другу; супруг дамы из Уошо с отсутствующим видом устался в камин, рослый пассажир погрузился в самосозерцание, по всей вероятности надеясь найти в себе хоть какую-нибудь моральную опору в эту трудную минуту. Но тишину нарушил смех Мигглс, очень заразительный.

— Слушайте! — сказала она быстро. — Да вы, должно быть, проголодались. Кто мне может приготовить чай?

В добровольцах недостатка не было. Не прошло и двух-трёх минут, как Юба Билл, словно Калибан, уже таскал дрова для этой Миранды<sup>1</sup>; курьер молот кофе на крыльце; на мою долю выпала ответственная задача нарезать грудинку; а судья никого не оставлял своими благодетельными советами. И когда Мигглс с помощью судьи и нашего «палубного пассажира» — иберийца — накрыла на стол, пустив в дело всю имеющуюся в доме посуду, мы совсем развеселились, наперекор дождю, стучавшему в окна, ветру, завывавшему в трубе, двум нашим дамам, которые перешёптывались в

---

<sup>1</sup> *Калибан и Миранда* — персонажи драмы Шекспира «Буря». Калибан — уродливый дикарь; Миранда — нежная девушка.

углу, наперекор сороке, скрипучим голосом комментируя их беседу. При свете ярко пылающего теперь камина мы разглядели, что стены комнаты оклеены картинками из журналов, подобранными с чисто женским вкусом и пониманием дела. Мебелью служили ящики изпод свечей и других товаров, покрытые весёленьким ситцем или шкурами. Для кресла, в котором лежал беспомощный Джим, был остроумно приспособлен мучной бочонок. В убранстве этой длинной, низкой комнаты чувствовался вкус и даже некоторое изящество.

Ужин оказался чудом кулинарного искусства. Больше того, за столом торжествовало и искусство светского общения, главным образом благодаря редкому такту, с которым Мигглс руководила беседой, взяв на свою долю обязанность задавать вопросы, причём прямота нашей хозяйки исключала всякую возможность заподозрить её в желании скрыть что-то от нас. И мы говорили о себе, о своих намерениях, о путешествии, погоде, друг о друге,—обо всём, кроме нашего хозяина и хозяйки. Следует признаться, что слог Мигглс не отличался ни изысканностью, ни грамматической правильностью; по временам она вставляла словечки, употребление коих обычно считается привилегией нашего пола. Но когда Мигглс произносила их, глаза и зубы её сверкали, а за словами обычно следовал смех, её необыкновенный смех,—чистосердечный, простодушный, от которого словно всё светлело вокруг.

Во время ужина мы вдруг услышали шорох за дверью, будто о стену дома тёрлось чьё-то грузное тело. Вслед за этим у самой двери раздались царапанье и сопенье.

— Это Хоакин,—сказала Мигглс в ответ на

наши вопросительные взгляды. — Хотите взглянуть на него? — Не успели мы ответить, как она открыла дверь и перед нами предстал медвежонок-гризли, который немедленно поднялся на задние лапы, протянул передние, приняв позу заправского попрошайки, и нежно поглядел на Мигглс, ставши сразу похожим на Юбу Билла. — Это мой верный страж, — пояснила Мигглс. — Да нет, он не кусается! — добавила она, видя, как обе дамы вспорхнули со своих мест. — Ведь правда, косолапый? (Последнее относилось непосредственно к умному Хоакину.)

— Откровенно говоря, — продолжала Мигглс, накормив *Ursa Minor*<sup>1</sup> и закрывая за ней дверь, — вам здорово повезло, друзья, что Хоакина не было поблизости, когда вы подъезжали к дому.

— А где же он был? — спросил судья.

— Со мной, — сказала Мигглс. — Да ведь он ходит со мной по ночам, всё равно как человек! — Несколько минут мы молчали, прислушиваясь к завыванию ветра. Не представилась ли всем нам эта картина: Мигглс идёт по лесу под дождём, охраняемая своим свирепым стражем? Судья, помнится, сказал что-то насчёт Уны и её льва<sup>2</sup>. Мигглс приняла этот комплимент, как и предыдущие, со спокойным достоинством. Не знаю, на самом ли деле она не замечала нашего восхищения, — во всяком случае, обожающих взглядов Юбы Билла трудно было не заметить, но простота её манер не допускала и мысли о каком-либо неравенстве полов, что чрезвычайно обижало более юных членов нашей компании.

---

<sup>1</sup> *Ursa Minor* — Малая Медведица (лат.).

<sup>2</sup> Уна — персонаж поэмы «Королева фей» английского поэта XVI века Эдмунда Спенсера. В поэме Уну, аллегорически изображающую Истину, сопровождает прирученный ею лев, символизирующий Рассудок.

Эпизод с медведем не поднял Мигглс в глазах находившихся среди нас представительниц её пола. Больше того, как только ужин кончился, от обеих дам повеяло таким холодом, перед которым оказались бессильны даже сосновые ветви, возложенные Юбой Биллом на жертвенник — очаг. Мигглс чувствовала это и, объявив вдруг, что всем пора «на боковую», предложила проводить дам в соседнюю комнату, где для них были приготовлены постели. — А вам, друзья, придётся разбить лагерь уж как-нибудь здесь у камина, — добавила она, — другой комнаты у меня нет.

Наш пол — я, конечно, имею в виду, уважаемый сэр, более сильную половину рода человеческого — обычно застрахован от обвинений в любопытстве и любви посплетничать. Однако я вынужден сказать, что не успела Мигглс закрыть за собой дверь, как мы сбились в кучку и начали перешёптываться, хихикать, улыбаться, высказывать различные подозрения, предположения и тысячи всевозможных догадок насчёт нашей очаровательной хозяйки и её странного друга. Боюсь даже, что мы затолкали этого паралитика, который восседал безгласным Мемноном<sup>1</sup> и с безмятежным хладнокровием, словно дух прошлого, взирал своими безжизненными глазами на нашу мирскую суету. В самый разгар споров дверь открылась, и Мигглс снова вошла в комнату.

Но это была уже не та Мигглс, которая два-три часа назад ослепила нас своим появлением. Её глаза смотрели вниз, и, глядя, как она в нерешительности остановилась на пороге с одея-

---

<sup>1</sup> Мемнон — статуя в пустыне, остаток египетской цивилизации.

лом в руках, мы подумали, что простота и смелость Мигглс, недавно пленявшие нас, остались где-то там, позади. Войдя в комнату, она придвинула низкую скамейку к креслу паралитика, села, набросила на плечи одеяло и, сказав: «Если вы, друзья, не будете протестовать, я останусь здесь, у нас очень тесно», — взяла морщинистую руку больного и отвернулась к потухающему камину. Предчувствие, что это только начало более интимного разговора, а может быть, и стыд за наше недавнее любопытство заставили нас промолчать. Дождь всё ещё барабанил по крыше, порывы ветра долетали в камин, и угли вдруг разгорались ярче. Наконец, когда стихии на минуту смолкли, Мигглс подняла голову и, откинув волосы со лба, повернулась к нам и спросила:

— Кто-нибудь из вас знает меня?

Ответа не последовало.

— Ну-ка, припомните! Я жила в Мэрисвилле в пятьдесят третьем году. Меня там все знали, и в этом нет ничего удивительного. До того, как поселиться с Джимом, я держала там салун «Полька». С тех пор прошло шесть лет. Должно быть, я очень изменилась!

Мигглс, вероятно, смутило то, что никто её не узнавал. Она снова отвернулась к огню и заговорила только через несколько секунд, уже гораздо торопливее:

— Я думала, что кто-нибудь из вас меня узнает. Ну что ж, не беда! Я хотела вот что сказать: Джим, — она взяла его за руку, — он-то меня знал, я ему стоила уйму денег. Думаю, всех денег, какие у него только были. И вот как-то раз — этой зимой исполнится шесть лет с того дня — Джим пришёл в мою комнату за баром, сел на диван, вот как он сейчас сидит

в своём кресле, и больше без чужой помощи и ~~н~~ не сделал. Всё это вышло очень неожиданно, он так и не узнал, что с ним приключилось. Доктора говорили, что это расплата за прежнее — ведь он жил во-всю, бушевал — и что теперь ему уж не поправиться и долго не протянуть. Советовали отослать его в больницу, во Фриско — всё равно такой он никому не нужен, так до самой смерти и останется, как маленький ребёнок. Не знаю, может быть, глаза Джима на меня так подействовали, а может быть, потому, что у меня никогда детей не было, но я сказала: «Нет!» Я была богатая — у меня было много поклонников, — джентльмены вроде вас ко мне захаживали, — ну, продала я свой салун, купила вот это местечко, потому что оно в стороне от дороги, и привезла своё дитя сюда.

Рассказывая это, она с чисто женским чутьём и тактом постепенно передвинулась, чтобы безгласная фигура разбитого болезнью человека оказалась между ней и слушателями, и, прячась в тени, словно выставляла его немым оправданием своего поступка. И безмолвный, неподвижный человек вставал на её защиту; беспомощный, разбитый, придавленный ударом providения, он простирал над ней невидимую руку.

Спрятавшись в темноте и всё ещё не выпуская его пальцев, она продолжала:

— Не сразу я обтерпелась здесь, ведь раньше вокруг меня всегда было много народу, всегда было весело. Помощницу я найти не могла, а мужчинам не доверяла; правда, здешние индейцы иногда мне помогали, а всё нужное мы выписывали из Норт-Форка; вот понемногу и устроились с Джимом. Время от времени наезжает доктор из Сакраменто. Приедет

в своём кресле, и больше без чужой помощи и шагу не сделал. Всё это вышло очень неожиданно, он так и не узнал, что с ним приключилось. Доктора говорили, что это расплата за прежнее — ведь он жил во-всю, бушевал — и что теперь ему уж не поправиться и долго не протянуть. Советовали отослать его в больницу, но Фриско — всё равно такой он никому не нужен, так до самой смерти и останется, как малый ребёнок. Не знаю, может быть, глаза Джима на меня так подействовали, а может быть, потому, что у меня никогда детей не было, но она сказала: «Нет!» Я была богатая — у меня было много поклонников, — джентльмены вроде нас ко мне захаживали, — ну, продала я свой салун, купила вот это местечко, потому что оно в стороне от дороги, и привезла своё дитя сюда.

Рассказывая это, она с чисто женским чутьём и тактом постепенно передвинулась, чтобы безвзвешенная фигура разбитого болезнью человека оказалась между ней и слушателями, и, прячась в тени, словно выставляла его немым оправданием своего поступка. И безмолвный, неподвижный человек вставал на её защиту; безмощный, разбитый, придавленный ударом провидения, он простирали над ней невидимую руку.

Припадешь в темноте и всё ещё не выпуская его из объёма, она продолжала:

Не сразу и обтерпелась здесь, ведь раньше ввертёшься — всегда было много народу, всегда было весело. Помощницу я найти не могла, а аптечка не доверяла; правда, здешние женщины иногда мне помогали, а всё нужное мы вынуждены были привозить из Порт-Форка; вот понемногу и устроились с Джимом. Время от времени приезжает доктор из Сакраменто. Приедет



и спрашивает: «Ну, а где ваш ребёнок, Мигглс?!» — это он Джима так зовёт,—а на прощанье всегда скажет: «Ну, Мигглс, молодчина вы, да хранит вас господь!» И после этого не так одиноко здесь кажется. А последний раз уже собрался уходить и говорит: «Знаете, Мигглс, ваш ребёнок скоро вырастет, станет мужчиной, гордостью своей матери, только не здесь, Мигглс, только не здесь!» И ушёл грустный такой... и... — Тут голос и головка Мигглс утонули в тени.

— Народ кругом очень добрый, — после небольшой паузы сказала она, снова пододвигаясь к свету.— Мужчины из Норт-Форка первое время слонялись вокруг да около, но скоро поняли, что их присутствие здесь никому не нужно, а женщины—добрые—не показываются. Очень одиноко было с непривычки, а летом я набрела в лесу на Хоакина, он тогда ещё был маленький, научила его служить. А кроме того, есть Полли — сорока, она знает столько всяких штук, с ней не скучно по вечерам; теперь уж мне не кажется, что я единственное живое существо на ранчо. А Джим, — Мигглс рассмеялась своим прежним смехом и подвинулась в полосу света,— Джим... да вы просто пришли бы в восторг, если б знали, сколько он понимает, несмотря на свою болезнь. Иногда я приношу ему цветы, и он смотрит на них, как будто и правда знает, что это такое; а когда мы сидим одни, я читаю вслух вот эти наклейки на стенах. Господи боже! — Мигглс весело рассмеялась.— За эту зиму я прочла ему целую стенку. Такого эхотника послушать чтение и не найдёшь больше!

— А почему бы вам не выйти замуж за этого человека, которому вы посвятили свою молодость? — спросил судья.

— Видите, в чём дело, — сказала Мигглс, — нехорошо это будет — воспользоваться его беспомощным состоянием. А потом, если б мы были мужем и женой, тогда то, что я сейчас делаю добровольно, я должна была бы делать по обязанности.

— Но вы ещё молоды и хороши собой...

— Однако время уже позднее, — сдержанно сказала Мигглс, — укладывайтесь лучше спать. Спокойной ночи, друзья! — и, закутавшись в одеяло, она легла рядом с креслом Джима, положив голову на низкую скамеечку, подставленную ему под ноги, и замолчала. Огонь в камине медленно угасал. Не говоря ни слова, мы разобрали свои одеяла, и скоро в длинной комнате ничего не было слышно, кроме стука дождя по крыше и тяжёлого дыхания спящих.

Начинало светать, когда я пробудился от тревожного сна. Буря стихла, светили звёзды, и в не прикрытое ставнями окно смотрела полная луна, поднимающаяся из-за величавых сосен. С бесконечным состраданием она коснулась лучом одинокой фигуры в кресле и залила мерцающим потоком голову женщины, волосы которой, словно в старой сладостной легенде, лежали у ног того, кто был дорог ей. Луна наделила поэтичностью даже суровую фигуру Юбы Билла, лежавшего между этой парой и своими пассажирами, опираясь на локоть и не смыкая терпеливых глаз. Потом я опять задремал и проснулся, когда уже было утро и Юба Билл, стоя надо мной, кричал так, что в ушах звенело: — Отчаливаем!

На столе нас ждал кофе, но Мигглс нигде не было видно. Мы бродили около дома и всё ещё мешкали, хотя лошади были уже запряжены. Мигглс не приходила. Ясно, что она хотела избе-

жать чопорного прощанья и предоставила нам удалиться тем же манером, каким мы и появились здесь. Усадив наших спутниц в дилижанс, мы вернулись в дом и торжественно распрощались с Джимом, усаживая его в прежней позе после каждого рукопожатия. Потом оглядели в последний раз длинную низкую комнату, скамеечку, на которой вчера сидела Мигглс, и медленно заняли свои места в поджидавшем нас экипаже. Щёлкнул бич, и мы двинулись в путь!

Но как только дилижанс выехал на большую дорогу, Билл ловкой рукой осадил шестёрку лошадей, и мы остановились на всём скаку. На пригорке у самой дороги стояла Мигглс, волосы её развевались по ветру, глаза сверкали, носовой платок белел в руке над головой, ослепительная улыбка слала нам последнее прощание. Мы размахивали шляпами в ответ. А потом Юба Билл, словно испугавшись этого обольстительного зрелища, яростно стегнул лошадей, и мы дружно шлёпнулись на сидения.

До самого Норт-Форка все ехали молча; дилижанс остановился у «Индепенденс Хауса». Во главе с судьёй мы вошли в бар и степенно расположились у стойки.

— Полны ли ваши стаканы, джентльмены? — спросил судья, торжественно снимая свою белую шляпу.

Стаканы были полны.

— Хорошо! За здоровье Мигглс, да благословит её бог!

Быть может, бог и благословил её. Кто знает?

---

## БРАУН ИЗ КАЛАВЕРАСА

**П**о сдержанному тону разговора и по тому, что из окон уингдэмского дилижанса не шёл сигарный дым и не торчали подошвы сапогов, можно было понять, что среди пассажиров находится женщина. Зеваки на станциях подолгу заستاивались перед окнами дилижанса, и их старания поправить наскоро воротничок и шляпу указывали на то, что пассажирка хороша собой. Всё это мистер Джек Гемлин, восседавший на козлах, отметил философски-цинической усмешкой. Не то чтобы он презирал женщин, но он не мог не видеть обманчивости их очарования, зов которого иногда отвлекает человечество от равно ненадёжных прелестей покера, — заметим кстати, что мистера Гемлина можно было считать олицетворением этой игры.

И потому, ставя узкий ботинок на колесо и прыгивая вниз, он даже не взглянул на окно, из которого выбивался кончик зелёной вуали, и стал прогуливаться взад и вперёд со свойственным людям его профессии скучающим и равнодушным видом, который почти заменяет благовоспитанность. Застёгнутый на все пуговицы, сдержанный, он являл резкий контраст остальным пассажирам, их неумеренному волнению и

лихорадочному беспокойству, и даже Билл Ма-стерс, питомец Гарвардского университета, неряшливый, буйно-жизнерадостный, склонный ценить выше меры всякое варварство и беззаконие, набивший рот галетами и сыром, едва ли представлял собой романтическую фигуру рядом с этим одиноким ловцом удачи, бледным, как греческая статуя, и гомерически спокойным.

Кучер скомандовал: «Все по местам!»—и мистер Гемлин вернулся к дилижансу. Он уж стал ногой на колесо, его лицо очутилось на одном уровне с окном кареты, как вдруг глаза его встретились с другими глазами, которые показались ему самыми прекрасными в мире. Он спокойно соскочил с колеса, сказал несколько слов одному из пассажиров внутри кареты, поменялся с ним билетами и занял его место. Мистер Гемлин не позволял своим философским воззрениям влиять на решительность и быстроту своих действий.

Боюсь, что такое вторжение мистера Гемлина несколько стеснило остальных пассажиров, особенно тех, кто оказывал внимание даме. Один из них склонился вперёд и, повидимому, сообщил ей кое-что о профессии мистера Гемлина, определив её одним словом. Слышал ли это мистер Гемлин, узнал ли он в пассажире почтенного юриста, проигравшего ему на-днях несколько тысяч долларов, — не могу сказать. Его бледное лицо не изменило выражения; чёрные глаза, спокойные и наблюдательные, скользнув равнодушно по лицу почтенного джентльмена, остановились на несравненно более приятных чертах его соседки. Стоицизм индейца, унаследованный им, как говорили, от предков по женской линии, служил ему хорошую службу всю дорогу, пока дилижанс не закрипел по речной

гальке на перевозе Скотта и не остановился на время обеда у «Интернациональной» гостиницы. Почтенный юрист вместе с депутатом конгресса выпрыгнули и стали наготове, чтобы помочь выходящей из дилижанса богине, а полковник Старботл из Сискью завладел её зонтиком и шалью. При таком изобилии кавалеров дело не обошлось без некоторой заминки и суеты. Джек Гемлин спокойно открыл в это время противоположную дверцу, предложил даме руку, с той решительностью и уверенностью, которую умеет ценить слабый и нерешительный пол, и в одно мгновение легко и грациозно опустил её на землю, а потом соскочил сам и поставил её на крыльцо. С козел послышалось фырканье, исходившее, надо полагать, от другого циника, кучера Юба Билла.

— Глядите в оба, полковник, как бы вам чего не потерять, — с притворным участием заметил курьер, смотря вслед полковнику Старботлу, который угрюмо плёлся в хвосте триумфальной процессии, направлявшейся в общую залу.

Мистер Гемлин не остался обедать. Лошадь его была уже оседлана и дожидалась хозяина. Он поскакал через брод, поднялся по осыпанному галькой косогору и умчался вдаль по пыльной уингдэмской дороге с чувством человека, который стряхивает с себя тяжёлый сон. Обитатели запылённых придорожных домиков, прикрыв глаза рукой, смотрели ему вслед, узнавая всадника по лошади и размышляя о том, какая муха укусила Команча Джека. Их любопытство, впрочем, относилось главным образом к лошади, как и следовало ожидать в обществе, где резвость, показанная кобылой «Пита француза» во время его бегства от шерифа округа

Калаверас, совершенно заслонила собой судьбу всадника и настолько заняла умы, что прославленный беглец уже никого не интересовал.

Почувствовав, что Серый устал, Джек вернулся к действительности. Он придержал лошаадь и, свернув на тропу, которой иногда пользовались для сокращения пути, поехал неторопливой рысью, небрежно опустив поводья. Мало-помалу характер пейзажа менялся и становился всё более идиллическим. В просветах между стволами сосен и сикомор можно было заметить кое-какие культурные насаждения — крыльцо одного из домишек заплела цветущая лоза; возле другого женщина качала колыбельку под розовым кустом. Немного дальше мистер Гемлин встретил босоногих детишек, которые бродили по колено в воде ручья, заросшего ивняком, и своими шутками внушил им такое доверие, что они осмелели и начали карабкаться к нему на седло; тогда мистеру Гемлину пришлось напустить на себя невероятную свирепость и спастись бегством, отделавшись поцелуями и несколькими монетками. Въезжая в чащу леса, где уже не было и признаков жилья, он запел таким приятным тенором, исполненным такого покоряющего и страстного чувства, что, я готов ручаться, все реполовы и коноплинки замолчали, прислушиваясь к нему. Голос мистера Гемлина был необработан, слова песни были нелепы и сентиментальны — он научился им у негритянских певцов, — но в тоне и выражении звучало что-то несказанно трогательное. В самом деле, это была удивительная картина: сентиментальный мошенник с колодой карт в кармане и револьвером на поясе, оглашающий тёмный лес жалобной песенкой о «могиле, где спит моя Нелли», с таким чувством,

что у всякого слушателя навернулась бы слеза. Ястреб-перепелятник, только что заклевавший шестую жертву, почуял в мистере Гемлине родную душу и воззрился на него в изумлении, готовый признать превосходство человека. Хищничал он куда искуснее, однако петь не умел.

Скоро мистер Гемлин снова очутился на большой дороге и перешёл на прежний аллюр. На смену лесам и оврагам пришли канавы, кучи песку, оголённые косогоры, пни, гниющие стволы деревьев, предвещая близость цивилизации. Потом показалась колокольня; мистер Гемлин был дома. Еще несколько секунд, и он проскакал по единственной узенькой улице, терявшейся у подножья горы в хаосе вывороченных камней, канав и грудях промытого песка, и спешил перед блестящими позолотой окнами салуна «Магнолия». Пройдя через длинную комнату бара, он толкнул дверь, обитую зелёным сукном, вошёл в тёмный коридор, отпер своим ключом другую дверь и очутился в плохо освещённой комнате, обстановка которой, весьма изящная и ценная для здешних мест, была изрядно потрёпана. Мозаичный столик посредине комнаты был усеян круглыми пятнами, не входившими в первоначальный расчёт мастера. Вышивка на креслах выцвела, а зелёная бархатная кушетка, на которую бросился мистер Гемлин, была запачкана в ногах красной уингдэмской глиной.

Мистер Гемлин не пел в своей клетке. Он лежал неподвижно, глядя на яркую картину, где изображена была молодая особа с пышными формами. Ему пришло в голову, что такой женщины он никогда не видел, а если бы и увидел, то едва ли она ему понравилась бы.



Быть может, он думал о красоте другого типа. Но как раз в эту минуту кто-то постучался в дверь. Не вставая с кушетки, он потянул шнур, который, вероятно, поднимал щеколду, потому что дверь распахнулась, и в комнату вошёл человек.

Вошедший был широкоплечий, здоровый мужчина, — его сильной фигуре не соответствовало выражение лица, красивого, но до странности бесхарактерного и к тому же одутловатого от пьянства. Повидимому, он был нетрезв, так как пошатнулся, увидев мистера Гемлина, и сказал заикаясь:

— Я думал, здесь Кэт...—причем вид у него был смущённый и растерянный.

Мистер Гемлин ответил ему той же улыбкой, какой улыбался в уингдэмском дилижансе, и сел, вполне отдохнувший и готовый заняться делами.

— Ты, должно быть, не с дилижансом приехал, — продолжал посетитель.

— Нет, — ответил Гемлин, — я сошёл на перевозе Скотта. Дилижанс придёт не раньше, чем через полчаса. Ну, как дела, Браун?

— Ни к чорту, — сказал Браун, и лицо его неожиданно выразило слабость и отчаяние. — Я опять вдребезги проигрался, Джек, — продолжал он плачущим голосом, который до смешного не соответствовал его грузной фигуре, — не одолжишь ли ты мне сотню до завтрашней промывки? Мне, видишь ли, нужно послать деньги моей старухе — а, кроме того, ты у меня выиграл в двадцать раз больше.

Вывод был, возможно, не совсем логичен, но Джек пренебрёг этим и передал своему гостю просимое.

— Не завирайся насчёт старухи, Браун, — за-

метил он вскользь, — скажи лучше, что хочешь попытать счастья в фараон? Ты не женат, сам знаешь.

— В том-то и дело, что женат, — сказал Браун неожиданно серьёзным тоном, как будто одно прикосновение золота к ладони прибавило ему важности. — У меня есть жена, да ещё какая хорошая, я тебе говорю — в Штатах. Я её уже три года не видел, а писал ей год тому назад. Вот поправятся дела, нападём на жилу, я привезу её сюда.

— А как же Кэт? — спросил мистер Гемлин с прежней улыбкой.

Мистер Браун из Калавераса попытался прикрыть плутовским взглядом своё смущение, — задача, с которой плохо справились его оплывшее лицо и затуманенный алкоголем мозг, — и сказал:

— Поди ты к дьяволу, Джек, надо же человеку немного поразвлечься, ты и сам знаешь. Брось, лучше давай сыграем по маленькой. Покажи-ка мне, как с моей сотней выиграть другую.

Мистер Гемлин с любопытством поглядел на своего бестолкового друга. Он, должно быть, увидел, что тому суждено проиграть эти деньги, и предпочёл, чтоб они снова попали в карман к нему, а не к кому-нибудь другому. Он кивнул и пододвинул стол поближе к столу. В это время в дверь постучались.

— Это Кэт, — сказал мистер Браун. Мистер Гемлин поднял щеколду, и дверь открылась. И тут, в первый раз за всю жизнь, он совершенно растерялся и, смутившись, вскочил с места, и в первый раз за всю жизнь его бледные щёки залились горячей кровью до самого лба. Перед ним стояла пассажирка, которой он

помог сойти с дилижанса, а Браун, роня карты, с истерическим смехом приветствовал её:

— Моя старуха, разрази меня гром!

Говорят, будто бы миссис Браун ударилась в слёзы и осыпала мужа упрёками. Я видел её в Мэрисвилле в 1875 году и не верю этим слухам. А на следующей неделе «Уингдэмская хроника» под заголовком «Трогательное свидание» сообщала: «На прошлой неделе в нашем городе произошло одно из тех прекрасных и трогательных событий, которые так часты в Калифорнии. Жена одного из выдающихся граждан Уингдэма, наскучив вырождающейся цивилизацией Востока и его неблагоприятным климатом, решила приехать к своему мужественному супругу на золотые берега Калифорнии. Не предупредив его о своём намерении, она отважилась на долгое путешествие и прибыла к нам на прошлой неделе. Радость супруга не поддаётся описанию. По слухам, встреча была невообразимо трогательная. Надеемся, что этот пример не останется без подражаний».

Благодаря влиянию миссис Браун, а быть может, более удачному ходу дел, финансовое положение мистера Брауна начало с этих пор непрерывно улучшаться. Недели через две по приезде жены он откупил у своих компаньонов рудник «Выпей и закуси» на деньги, будто бы выигранные в покер. Однако, если верить слухам, основанным на сообщении миссис Браун, что муж её зарёкся подходить к карточному столу, деньги эти дал мистер Гемлин. Браун выстроил и отделал «Уингдэмскую гостиницу», которая благодаря популярности хорошенькой миссис Браун, была всегда переполнена. Он был выбран депутатом в Собрание и пожертвовал

некоторую сумму на церковь. Одну улицу в Уингдэме назвали его именем.

Было, однако, замечено, что, по мере того как богатство его и удача росли, сам он худел, бледнел и становился всё мрачнее. По мере того как успех его жены возрастал, он всё чаще раздражался и выходил из себя. Самый влюблённый из мужей, он был ревнив до глупости. Если он не стеснял её свободы, то потому только, шептали злые языки, что при первой и единственной попытке к этому миссис Браун устроила ему ужасающую сцену, и он присмирел. Почти все сплетни такого рода исходили от представительниц прекрасного пола, вытесненных ею из сердец уингдэмских рыцарей, которые, как и большинство рыцарей, преклонялись перед всякой силой, будь это мужская мощь или женская красота. В оправдание миссис Браун следует, однако, сказать, что со времени своего приезда она, сама того не подозревая, стала жрицей целого мифологического культа, быть может, не более возвышавшего её женское достоинство, чем тот, которым прославилась старейшая греческая демократия. Думаю, что Браун это до некоторой степени сознавал. Но единственным его поверенным был Джек Гемлин, чья репутация, к несчастью, не позволяла ему сблизиться с этой четой и чьи визиты были поэтому весьма редки.

Был лунный летний вечер; миссис Браун, раздумывая, большеглазая и хорошенькая, сидела на веранде, упиваясь свежим фимиамом горного ветерка и, надо опасаться, другим фимиамом, не таким свежим и гораздо менее невинным. Рядом с ней сидели полковник Старботл и судья Бумпойнтер, и последнее прибав-

ление к её свите — путешественник-иностранец. Она была настроена как нельзя лучше.

— Что видно на дороге? — спросил галантный полковник, который заметил, что в последние несколько минут внимание миссис Браун было занято чем-то посторонним.

— Пыль, — сказала миссис Браун со вздохом. — Стадо баранов сестрицы Анны — больше ничего.

Полковник, литературные реминисценции которого не шли далее вчерашней газеты, понял это буквально.

— Это не бараны, — заметил он, — а верховой. Судья, ведь это Серый Джека Гемлина?

Судья не знал, и так как миссис Браун нашла, что воздух становится слишком прохладным, они перешли в гостиную.

Мистер Браун был на конюшне, куда обыкновенно удалялся после обеда. Быть может, он хотел выказать этим неуважение к знакомым своей жены, быть может, ему, как другим слабым натурам, доставляло удовольствие проявлять свою власть над беззащитными животными. Он утешался, тренируя рыжую кобылу, которую мог бить и ласкать, сколько душе угодно, чего нельзя было проделывать с миссис Браун. Он заметил знакомую нам серую лошадь и, взглядевшись внимательнее, узнал наездника. Мистер Браун приветствовал его сердечно и ласково, мистер Гемлин отвечал довольно сдержанно. Однако, по настоятельной просьбе Брауна, он последовал за ним по чёрной лестнице в узкий коридор, а оттуда в тесную комнату, выходящую окнами на конный двор. Обставлена она была скудно: кровать, стол, пара стульев да стойка для ружей и хлыстов.

— Вот это и есть мой дом, Джек, — со вздохом сказал Браун, бросаясь на кровать и указывая приятелю на стул. — Её комната на другом конце коридора. Вот уже больше полугода живём вместе, а встречаемся только за обедом. Нечего сказать, хорошенькое положеньеице для главы дома, — заметил он с принуждённым смехом. — Но всё равно, я рад тебя видеть, Джек, очень, очень рад, — и, встав с кровати, он ещё раз пожал неподвижную руку мистера Гемлина.

— Я привёл тебя сюда, потому что не хотел разговаривать на конюшне, хотя, по правде говоря, это всему городу известно. Не зажигай огня. Мы и при лунном свете можем поговорить. Клади ноги на подоконник и садись вот тут, рядом со мной. Виски вон в том кувшине.

Мистер Гемлин не воспользовался этим предложением. Браун из Калавераса повернулся лицом к стене и продолжал:

— Если б я не любил эту женщину, мне бы и горя мало. А что я её люблю и давным-давно вижу, что она закусилла удила, а остановить некому, — это вот меня и убивает! Но всё равно, я рад тебя видеть, очень, очень рад.

В темноте он нашёл ошупью руку приятеля и ещё раз пожал. Он хотел удержать её, но Джек отнял руку, сунул за борт застёгнутого сюртука и рассеянно спросил:

— И давно это началось?

— С тех самых пор, как она приехала, с того самого дня, как она вошла в «Магнолию». Я тогда был дураком, Джек; я и теперь дурак, но раньше я и сам не знал, как я её люблю. А её с тех пор точно подменили. И это ещё не всё, Джек; не затем я хотел тебя видеть, и я рад, что ты пришёл. Не в том дело, что она меня больше не любит; не в том дело, что она флир-

тует со всеми, кто только под руку подвернётся; может быть, я поставил на кон её любовь и проиграл её, как проиграл всё остальное; может быть, некоторые женщины не могут не флиртовать, от этого ещё нет большого вреда, разве только дуракам. А всё-таки, Джек, думается мне, она любит другого. Не вставай, Джек, не надо, если тебе револьвер мешает, сними его. Вот уже больше полугода она кажется несчастной и одинокой и как будто беспокойна и боится чего-то. А иной раз я ловлю её на том, что она смотрит на меня робко и с жалостью. И посылает кому-то письма. А с прошлой недели она начала собирать свои вещи — побрякушки и тряпки; думается мне, Джек, что она хочет уехать. Я бы всё стерпел, кроме этого. Чтоб она уезжала крадучись, по-воровски... — Он уткнулся лицом в подушку, и несколько минут не было слышно ни звука, кроме тиканья часов на камине. Мистер Гемлин закурил сигару и подошёл к открытому окну. Луна уже не светила в комнату, и кровать была в тени.

— Что мне делать, Джек? — сказал голос из темноты.

С подоконника ответили быстро и ясно:

— Узнай, кто он, и застрели на месте.

— Что ты, Джек?

— Он знал, на что идёт!

— Разве этим её вернёшь?

Джек не ответил, но перешёл от окна к двери.

— Не уходи пока, Джек: зажги свечу и сядь к столу. Хоть то утешение, что ты со мной.

Джек сначала колебался, потом сел за стол. Он вытащил колоду карт из кармана и стасовал её, глядя на кровать. Но Браун лежал лицом к стене. Мистер Гемлин стасовал карты, снял с колоды и положил одну карту на противопо-

ложный край стола, поближе к кровати, другую сдал себе. Первая была двойка, у него самого — король. Он стасовал и снял ещё раз. Теперь у его воображаемого партнёра была дама, а у Джека — четвёрка. Он повеселел, начиная третью сдачу. Она принесла его противнику двойку, а ему опять короля.

— Два из трёх, — сказал Джек довольно громко.

— Что такое, Джек? — спросил Браун.

— Ничего.

Теперь Джек попробовал бросить кости; однако он всё время выбрасывал шесть очков, а его противник — одно. Сила привычки бывает подчас стеснительна.

Тем временем магическое влияние мистера Гемлина или действие виски, а может быть, и то и другое вместе, принесло облегчение мистеру Брауну, и он уснул.

Мистер Гемлин подвинул свой стул к окну и стал смотреть на город Уингдэм, теперь мирно спавший — резкие очертания домов расплылись и смягчились, кричащие краски потускнели и стали нежнее в лунном свете, заливавшем всё кругом. В тишине ему слышно было, как журчит вода в канавах и шумят сосны за горой. Тогда он взглянул на небо, и как раз в это мгновенье падающая звезда прорезала мерцающую синеву. За ней другая и третья. Это явление навело мистера Гемлина на мысль о новом способе гаданья. Если за четверть часа упадёт ещё одна звезда... Он просидел с часами в руках вдвое больше назначенного времени, но явление не повторилось.

Часы пробили два, а Браун всё ещё спал.

Мистер Гемлин подошёл к столу, достал из кармана письмо и прочёл его при колеблющем-



ся свете свечи. Там была только одна строчка, написанная карандашом, женской рукой:

«Будьте у корраля, с кабриолетом, в три часа».

Спящий тревожно задвигался и проснулся.

— Ты здесь, Джек?

— Да.

— Не уходи пока, Джек. Я сейчас видел сон, мне снилось старое время. Будто мы с Сюзанной опять венчаемся, а пастор будто бы — как ты думаешь, кто? — ты, Джек!

Игрок засмеялся и сел на кровать, всё ещё с письмом в руке.

— Хороший знак, верно? — спросил Браун.

— Ну, ещё бы... Скажи-ка, старина, а не лучше ли тебе встать?

«Старина», повинувшись ласковому призыву, поднялся, ухватившись за протянутую руку Гемлина.

— Закурим?

Браун машинально взял предложенную ему сигару.

— Огня?

Джек скрутил письмо спиралью, зажёл и протянул приятелю. Он держал письмо, пока оно не сгорело, и уронил остаток — огненную звезду — за окно. Он проследил, как она падает, потом повернулся к своему другу.

— Старина, — сказал он, положив руку на плечо Брауна, — через десять минут я буду в пути, исчезну, как эта искра. Мы больше не увидимся, но, пока я не уехал, прими совет от дурака: продай всё, что у тебя есть, возьми жену и уезжай отсюда. Тебе здесь не место и ей тоже. Скажи ей, что она должна уехать, заставь уехать, если не захочет. Не хнычь о том,

что ты не праведник, а она не ангел. Не оудь идиотом. Прощай.

Он вырвался из объятий Брауна и бросился вниз по лестнице с лёгкостью оленя. У конюшни он схватил за шиворот полусонного конюха.

— Оседлай мою лошадь в две минуты, а не то... — Умолчание было как нельзя более внушительно.

— Хозяйка сказала, что вы возьмёте кабриолет, — пробормотал конюх.

— К чорту кабриолет!

Лошадь была оседлана настолько быстро, насколько дрожащие руки конюха могли справиться с пряжками и ремнями.

— Что-нибудь случилось, мистер Гемлин? — спросил конюх, который, как и все слуги, восхищался огненным характером своего патрона и искренне желал ему добра.

— Прочь с дороги!

Конюх отскочил. Проклятие, скачок, стук копыт, — и Джек очутился на дороге. Ещё минута, и полусонные глаза конюха различили вдали только движущееся облако пыли, к которому звезда, оторвавшаяся от своих сестёр, протянула огненную нить.

А рано утром люди, жившие далеко от Уингдэма, услышали голос, чистый, как голос полевого жаворонка. Те, кто спал, повернулись на своём грубом ложе, грезя о юности, любви и прошлых днях. Суровые мужчины, беспокойные искатели золота, поднявшиеся до света, бросили работу и, опираясь на кирку, слушали романтического бродягу, ехавшего лёгкой рысцой навстречу румяной заре.

---

## ИЛИАДА СЭНДИ-БАРА

Около девяти часов утра на реке стало известно, что компаньоны с участка «Дружба» поссорились и на рассвете разошлись. Шум перебранки и звук двух пистолетных выстрелов, последовавших один за другим, привлекли внимание их ближайшего соседа. Выбежав из хижины, он разглядел сквозь серый туман, поднимавшийся с реки, высокую фигуру Скотта, одного из компаньонов, который спускался с горы к ущелью; минутой позже второй компаньон, Йорк, вышел из хижины и направился в противоположную сторону, к реке, пройдя в нескольких шагах от любопытного наблюдателя. Позднее открылось, что часть ссоры произошла на глазах у одного серьезного и положительного китайца, рубившего лес перед хижинной. Но Джон<sup>1</sup> держался непреклонно, с полным безразличием и больше помалкивал. — Моя рубила лес, моя не дралась, — таков был безмятежный ответ на все нетерпеливые расспросы.

— А что они всё-таки говорили, Джон?

---

<sup>1</sup> Принятое в Калифорнии в описываемое время обращение к китайцу; китаец в свою очередь называл «Джоном» американца.

Джон не знал. Полковник Старботл бегло перечислил несколько общеизвестных эпитетов, которые снисходительная публика могла бы счесть достаточным поводом для драки. Но Джон не внял ему.

— И такую-то вот бессловесную скотину, — с некоторым ожесточением сказал полковник, — кое-кто хочет допускать в суд, чтобы они показывали против нас, белых! Пшол вон, язычник!

И всё же причина ссоры осталась неразгаданной. То, что два человека, дружелюбие и выдержка которых заслужили им в обществе, не отличающемся незлобивостью, почётное прозвище «миротворцев», то, что эти крепко привязанные друг к другу люди неожиданно и серьёзно поссорились, вполне могло возбудить в посёлке любопытство. Те, кто подтошнее, посетили место недавней ссоры, оставленное теперь его прежними обитателями. В опрятной хижине не было обнаружено ни беспорядка, ни следов драки. Грубо сколоченный стол был накрыт, должно быть, к завтраку; сковорода с лепёшками всё ещё стояла на очаге, потухшие угли которого могли служить олицетворением страстей, бушевавших здесь какой-нибудь час назад. Но глаза полковника Старботла, хоть они и были у него несколько воспалённые и слезящиеся, обратились к более существенным деталям. После осмотра хижины в дверной притолоке было обнаружено углубление — след пули, а в оконной раме, почти напротив — второй такой же след. Полковник Старботл обратил внимание присутствующих на тот факт, что одно углубление точка в точку совпадало с калибром револьвера, принадлежавшего Скотту, а другое — с калибром пистолета, который имелся у Йорка.

— Вот они где стояли, — сказал полковник,

занимая соответствующую позицию, — в каких-нибудь трёх футах друг от друга и — промахнулись! — В голосе полковника послышалась горестная нотка, которая произвела должное действие. Мысль о не осуществлённых здесь возможностях поразила воображение его слушателей.

Однако Сэнди-Бару было суждено испытать ещё большее разочарование. Противники не встречались со времени ссоры, и в посёлке ходили смутные слухи, что оба они решили пристрелить один другого при встрече. И поэтому в Сэнди-Баре царило оживление, не лишённое, я бы сказал, некоторой приятности, когда в десять часов Йорк вышел из салуна «Магнолия» на единственную в посёлке длинную и широкую улицу, в тот же самый момент, как Скотт появился на пороге кузницы, стоявшей на перекрёстке. С первого взгляда всем стало ясно, что избежать встречи они могут только в том случае, если кто-нибудь из них решит скрыться.

В одно мгновение двери и окна ближайших салунов запестрели лицами. Неизвестно откуда появившиеся головы наблюдателей поднимались вдоль всего берега реки, выглядывали из-за камней. Пустой фургон, стоявший у дороги, вмиг наполнился зрителями, словно выскочившими из-под земли. На косогоре поднялась беготня и суматоха. На горной дороге мистер Джек Гемлин натянул вожжи и во весь рост встал в двуколке прямо на сиденье. А в это время оба предмета такого пристального внимания приближались друг к другу.

— Йорк идёт против солнца! Скотт уложит его около того дерева! Поджидает, когда спустит курок, — послышалось из фургона; потом наступило молчание. А река, невзирая на немую тиши-

ну, мчалась и пела, ветер шуршал верхушками деревьев с безразличием, казавшимся назойливым. Полковник Старботл почувствовал, насколько неуместна назойливость в минуту такой глубокой сосредоточенности, не оглядываясь, помахал за спиной палкой, словно одёргивая природу, и сказал: — Тш-ш!

Противники были теперь в нескольких шагах друг от друга. Курица перебежала одному из них дорогу. Крылатое семечко, слетевшее с придорожного дерева, опустилось у ног другого. И, не замечая этого иронического комментария природы, оба врага сходились всё ближе и ближе, выпрямившись, насторожившись, потом взглянули друг другу в глаза и — прошли мимо!

Полковника Старботла пришлось снять с фургона.

— Выдохся ваш посёлок, — мрачно проговорил он, позволив отвести себя под руки в «Магнолию». Трудно сказать, в каких выражениях полковник излил бы в дальнейшем свои чувства, если б в эту минуту к их группе не присоединился Скотт.

— Вы ко мне изволили обращаться? — спросил он полковника, дружески и как бы невзначай опуская руку на плечо этого джентльмена. Полковник, почувствовав некие мистические свойства этого прикосновения и непривычную значительность взгляда своего собеседника, удовольствовался тем, что с большим достоинством ответил:

— Нет, сэр!

Поведение Йорка, стоявшего неподалёку от них, казалось столь же примечательным и странным.

— Ведь дело было верное; почему же ты его не ухлопал? — спросил Джек Гемлин, когда Йорк подошёл к его двуколке.

— Потому что я его ненавижу, — раздался ответ, слышный только Джеку. В противоположность распространённой версии Йорк не прошипел своего ответа сквозь зубы, а говорил совершенно обычным тоном. Но Джек Гемлин, знаток человеческой природы, помогая Йорку залезть в двуколку, заметил, что руки у его собеседника были холодные, губы пересохшие, и выслушал этот кажущийся парадокс с улыбкой.

Убедившись, что ссора между Йорком и Скоттом не может быть улажена обычными местными способами, Сэнди-Бар перестал интересоваться ею. Но вскоре пронёсся слух, что участок, которым владели Скотт и Йорк, стал предметом судебной тяжбы и что оба компаньона, не жалея затрат, собираются доказывать свои права на него. Так как всем было известно, что участок «выработан» и никакой ценности собой не представляет, а компаньоны, разбогатевшие на нём, за каких-нибудь два-три дня до ссоры говорили, что бросят его, то поводом к тяжбе можно было считать только слепую злобу. Через некоторое время в этой простодушной Аркадии появилось двое адвокатов из Сан-Франциско, которые вскоре завоевали почётное место в салуне и — что почти одно и то же — доверие здешней публики. Немедленным результатом этого явились многочисленные вызовы в суд; и когда начался разбор дела об участке, все обитатели Сэнди-Бара явились в здание суда если не по вызову, то просто из любопытства. Ущелья и канавы на несколько миль в окружности обезлюдели. Я не собираюсь описывать этот уже ставший знаменитым процесс. Достаточно сказать, что, по словам адвоката истца, он «имел из ряда вон выходящее значение, ибо коснулся прав, вытекающих из неустанного трудолюбия, с которым разрабатыва-

лись богатства этого золотого дна»; а по более неприязнительному выражению полковника Старботла, процесс этот был «ерундой, которую джентльмены могли уладить в десять минут за стаканом виски, если бы они смотрели на вещи по-деловому; или в десять секунд с помощью револьвера, если бы искали случая поразвлечься». Дело выиграл Скотт, и Йорк немедленно подал апелляцию. Говорили, что он поклялся всадить всё до последнего доллара в эту борьбу.

Таким образом, Сэнди-Бар начал привыкать к тому, что ссора прежних компаньонов перешла во вражду на всю жизнь, и забыл, что когда-то они были друзьями. Те немногие, кто надеялся узнать на суде причины ссоры, остались разочарованными. В посёлке, склонном вообще считать достоинства женского пола весьма спорными, настойчиво утверждали, что причина ссоры — тайственное влияние женщины.

— Попомните моё слово, — сказал полковник Старботл, считавшийся в Сакраменто «джентльменом старой школы», — в этой истории замешана какая-то красotka. — Затем галантный полковник принялся иллюстрировать свою теорию всевозможными забавными происшествиями, которые обычно любят повторять джентльмены старой школы, но из уважения к предрассудкам джентльменов более поздних школ я воздержусь и не стану передавать их здесь. Однако впоследствии выяснилось, что даже теория полковника оказалась ошибочной. Единственной женщиной, которая могла бы собственной персоной повлиять на друзей, была хорошенькая дочка старика Фоллинсби из Поверти-Флета, в гостеприимном доме которого, не лишённом некоторого комфорта и изящества, редко встречавшихся в этом мире несовершенной цивилизации, и Йорк и Скотт были



частыми гостями. Однако как-то вечером спустя месяц после ссоры в этот очаровательный уголок заглянул Йорк и, увидев там Скотта, повернулся к хорошенькой хозяйке с кратким вопросом:

— Вы любите этого человека?

В ответ на это молоденькая девушка произнесла те самые слова, горячие и уклончивые одновременно, которые в подобном же случае пришли бы на ум большинству моих очаровательных читательниц. Не сказав больше ни слова, Йорк вышел. «Мисс Джо» испустила едва слышный вздох, когда дверь скрыла от неё кудри и широкие плечи Йорка, и, как следовало порядочной девушке, вернулась к своему оскорблённому гостю.—И ты поверишь, милочка, — рассказывала она потом одной близкой приятельнице, — другой болван сверкнул на меня глазами, встал на дыбы, взял шляпу и тоже ушёл; только я их обоих и видела.

То же самое беспардонное пренебрежение к интересам и чувствам других людей, когда дело шло об утолении слепой злобы, характеризовало все их поступки. Когда Йорк купил участок ниже новой заявки Скотта и заставил его солидно потратиться на устройство спуска воды обходным путём, Скотт отомстил тем, что загородил реку плотиной выше заявки Йорка. Не кто иной как Скотт в содружестве с полковником Старботлом, первым начал кампанию против китайцев, закончившуюся тем, что Йорку пришлось расстаться со своими китайскими рабочими; не кто иной как Йорк провёл в Сэнди-Бар проезжую дорогу и пустил по ней дилижанс, после чего мулы и караваны Скотта оказались ни к чему; не кто иной как Скотт организовал Наблюдательный комитет, изгнавший из посёлка приятеля Йорка — Джека Гемлина; не кто иной как Йорк стал выпускать газету «Герольд Сэнди-Бара», которая

назвала это мероприятие «возмутительным беззаконием», а Скотта — «головорезом»; не кто иной как Скотт, во главе двадцати замаскированных субъектов, одной лунной ночью спустил в жёлтую воду реки эти оскорбительные строки и рассыпал типографский шрифт по пыльной дороге. В отдалённых и более цивилизованных городах на все эти дела смотрели как на первые показатели прогресса и жизнеспособности посёлка. Передо мной лежит номер еженедельника «Пионер Поверти-Флета» от 12 августа 1856 года, передовая статья которого под заголовком «Наши успехи» рассказывает: «Постройка новой пресвитерианской церкви на Си-стрит в Сэнди-Баре закончена. Церковь выросла на том самом месте, где находился раньше салун «Магнолия», сгоревший месяц тому назад при совершенно загадочных обстоятельствах. Храм, словно феникс, возникший из пепла «Магнолии», является даром эсквайра Г. Дж. Йорка из Сэнди-Бара, купившего участок и предоставившего строительные материалы. Тут же поблизости воздвигаются и другие здания, и самое выдающееся из них — «Салун Солнечной Страны», который строится капитаном Мэт. Скоттом почти напротив церкви. Капитан Скотт не пожалел затрат на оборудование этого салуна, обещающего стать самым приятным местом отдохновения в старой Туолумне. На днях капитан Скотт получил два первоклассных новых биллиарда с пробковыми бортами. Наш старый приятель «Горец-Джимми» будет продавать там спиртные напитки. Мы обращаем внимание наших читателей на объявления в следующем столбце. Посетители Сэнди-Бара не смогут найти себе лучшего занятия, чем посещение Джимми».

В местной хронике мне попало следующее:

«Г. Дж. Йорк, эсквайр, предлагает вознаграждение в размере ста долларов за поимку лиц, своротивших в прошлую субботу во время вечерней службы ступеньки новой пресвитерианской церкви на Си-стрит в Сэнди-Баре. Капитан Скотт также предлагает сотню долларов всякому, кто задержит злоумышленников, разбивших вечером следующего дня великолепные зеркальные стёкла нового салуна. Ходят слухи о реорганизации Наблюдательного комитета в Сэнди-Баре».

Прошли долгие месяцы. Жестокое ретивое солнце Сэнди-Бара успело много раз зайти, оставляя позади себя неуёмную ярость этих людей, когда в посёлке начали поговаривать о посредничестве. В частности, священнослужитель той церкви, о которой я только что упоминал, чистосердечный, бесстрашный, но, вероятно, не очень проникательный человек, с радостью использовал щедрость Йорка, чтобы сделать попытку примирить бывших компаньонов. Он начал с проникновенной проповеди о греховности раздоров и вражды. Но в своих блестящих проповедях преподаватель мистер Доус обращался к идеальному приходу, которого в Сэнди-Баре не было и который существовал только в его воображении. К несчастью, прихожане мистера Доуса в большинстве своём были люди обыкновенные, не без хитрецы, более склонные к самооправданию, чем к самообвинению, добродушные и наделённые всеми человеческими слабостями. Поэтому они преспокойно пропустили мимо ушей ту часть проповеди, которая касалась их самих, и, взирая на Йорка и Скотта, с вызывающим видом восседавших в церкви, испытывали чувство удовлетворения, — боюсь, не совсем христианское, — слушая, как тех «пробирают с песочком». Если мистер Доус ожидал, что Йорк и Скотт обменяются ру-

копожатием после проповеди, то ему пришлось разочароваться. Но он не отступился от своей цели. С той спокойной отвагой и решительностью, которые заслужили ему почтение людей, склонных отождествлять богобоязненность с трусостью, он атаковал Скотта в его собственном салуне. Что говорил мистер Доус, осталось неизвестным; подозреваю, что он повторил часть своей проповеди. Как только пастор закончил, Скотт без всякой эльбы посмотрел на него поверх посуды, стоявшей на стойке, и сказал не особенно резко:

— Молодой человек, я ценю ваше красноречие, но когда вы будете знать Йорка и меня так же близко, как господа бога, вот тогда мы с вами побеседуем.

Итак, вражда разгоралась всё больше и больше; личная неприязнь двух людей стала поводом к возникновению в посёлке примитивных «партий» и «убеждений». Вскоре выяснилось, что борьба этих убеждений соответствует известным благодетельным принципам, которые были сформулированы создателями американской конституции, как это подробно изъяснял государственный ум Икс (или, наоборот, является той роковой пучиной, которая может погубить государственный корабль, как предостерегал многоречивый Игрек). Практическими результатами всего этого было то, что Йорк и Скотт оказались выдвинутыми в законодательные учреждения как кандидаты враждующих группировок Сэнди-Бара.

В течение нескольких недель большие транспаранты зывали к избирателям Сэнди-Бара и соседних посёлков: «Объединяйтесь!» Напрасно высокие придорожные сосны, на стволах которых вывесили и этот и другие призывы, противились и слали стоны с высоты своих колеблемых ветром сторожевых башен! В один прекрасный день к ро-

щице, у входа в ущелье, с барабанным боем, с расписным плакатом подошла процессия. Собравшиеся были призваны к порядку полковником Старботлом. Вкусивший однажды от обязанностей законодателя и пользовавшийся неопределённой репутацией «боевого коня», полковник считался ценным приверженцем Йорка. Он заключил выступление в пользу своего друга, провозгласив ряд теоретических положений, вперемежку с парочкой анекдотов, настолько рискованных, что, кажется, даже сосны могли бы возмутиться и закидать полковника шишками. Но полковник вызвал у своих слушателей смех, который помог его кандидату завладеть всеобщим вниманием, и когда Йорк поднялся, чтобы произнести речь, его встретили приветственными криками. Ко всеобщему удивлению, оратор начал с того, что принялся всячески поносить своего соперника. Он распространялся не только о деяниях и проступках Скотта, хорошо известных в Сэнди-Баре, но заговорил также о фактах, имевших отношение к началу его карьеры и до сих пор не известных слушателям. Точность эпитетов и резкость стиля усугублялись сенсационностью разоблачений. Толпа кричала, выла и была в полном восторге, но когда эта ошеломляющая филиппика закончилась, раздались единодушные крики: «Давай сюда Скотта!» Полковник Старботл попробовал бороться с этой вопиющей несообразностью, но всё было напрасно. Отчасти тут говорило элементарное чувство справедливости, отчасти более низменная потребность поразвлечься. Собрание было непоколебимо, и Скотта приволокли, протолкнули вперёд и втащили на трибуну.

Как только его нечёсаная шевелюра и всклокоченная борода появились над перилами, всем

стало ясно, что Скотт пьян. Однако не успел ещё он открыть рот, как собравшиеся почувствовали, что перед ними стоит подлинный оратор Сэнди-Бара, единственный человек, который способен привлечь к себе их неустойчивые симпатии (может быть, потому, что он был ничуть не выше этих людей). Сознание своей силы придавало Скотту известное достоинство, и подозреваю, что состояние, в котором он находился, пленяло собравшихся, видевших в этом признаки царственной непокорности и широкой натуры. Как бы там ни было, но стоило только этому нежданному-негаданному Гектору появиться из своей канавы, как мармидоняне Йорка задрожали.

— Всё до последнего слова, — начал Скотт, наклоняясь над перилами, — всё до последнего слова из того, что говорил этот человек, — сущая правда. Меня выгнали из Каиро; я действительно был в армии; я действительно дезертировал; я действительно бросил жену в Канзасе. Но есть ещё один неблагоприятный поступок, которым он меня не попрекнул, — должно быть, просто забыл. Три года, джентльмены, я был компаньоном этого человека!

Собирался ли Скотт говорить дальше, не знаю; буря аплодисментов придала его успеху художественную полноту и завершённость и фактически предредила избрание оратора. Этой же осенью он отправился в Сакраменто, а Йорк уехал за границу; и впервые за долгие годы расстояние и новая обстановка, в которой они оба очутились, разъединили старых врагов.

Три года пролетели над Сэнди-Баром. Для зелёного леса, серых скал и жёлтой реки они принесли мало нового, но сильно раздвинули вехи, поставленные человеком. Посёлок населился новыми лицами. Два обитателя Сэнди-Бара,

когда-то не отделимые от него, казалось, были совсем забыты.

— Вы уже никогда не вернётесь в Сэнди-Бар, — сказала «Лилия Поверти-Флета», мисс Фолинсби, встретившись с Йорком в Париже, — потому что Сэнди-Бара больше нет. Теперь он называется Риверсайд; новый город стоит выше по берегу. Между прочим, Джо говорит, что Скотт выиграл дело об участке «Дружба», живёт теперь в старой хижине и почти всегда бывает пьян. Ах, простите, — добавила жизнерадостная леди, увидев, как румянец залил бледные щёки Йорка.

— Боже мой, я была уверена, что старая вражда кончилась! По-моему, давно пора.

Через три месяца после этого разговора, в прекрасный летний вечер у веранды сэнди-барского «Юнион-Отеля» остановился дилижанс из Поверти-Флета. Один из пассажиров, в хорошо сшитом костюме и с чисто выбритым лицом, по местным понятиям — «чужак», потребовал отдельный номер и рано удалился к себе. Но на следующее утро он встал ещё до восхода солнца и, вынув из дорожного мешка другую смену одежды, облачился в белые парусиновые брюки, белую парусиновую рубашу и соломенную шляпу. Закончив свой туалет, он завязал узлом красную шёлковую косынку на шее. Превращение получилось полное. Когда он бесшумно спустился по лестнице и вышел на дорогу, никто не сказал бы, что это всё тот же эlegantный незнакомец. Только несколько человек узнали Генри Йорка из Сэнди-Бара.

Неверный свет раннего утра и перемены, происшедшие в посёлке, заставили Йорка немного помедлить, прежде чем он разобрал, где находится. Сэнди-Бар, каким он его помнил, был

расположен ниже, около реки; дома, стоявшие вокруг, были позднейшей стройки и более современные на вид. Идя к реке, он замечал то новую школу, то церковь, которых раньше не было. Ещё немного дальше — и появился «Салун Солнечной Страны», превратившийся теперь в ресторан с потускневшей позолотой и облупившейся штукатуркой. Теперь уже Йорк знал, где находится, и, быстро сбежав по косогору, перешагнув через канаву и остановился у нижней границы участка «Дружба».

Серый туман медленно поднимался над рекой, цепляясь за верхушки деревьев, всползая по горному откосу, и, наконец, запутавшись среди этих скалистых алтарей, был принесён в жертву восходящему солнцу. Земля под ногами Йорка, когда-то безжалостно израненная и иссечённая, успела за эти долгие годы то тут, то там покрыться зеленью и улыбалась ему, словно говоря, что в конце концов жизнь не так уж плоха. Стайка птиц купалась в канаве с таким видом, будто канава эта была новшеством, специально уготованным для них природой; при его приближении заяц забрался в опрокинутый жолоб для промывки золотого песка, словно жолоб только для этого и лежал там.

Йорк всё ещё не решался взглянуть прямо перед собой. Но солнце поднялось высоко, и лучи его уже золотили холм, на котором стояла хижина. Несмотря на всё самообладание Йорка, сердце его забилось сильнее, как только он поднял на неё глаза. Окна и двери хижины были закрыты, дым из трубы не шёл, но во всём остальном она нисколько не изменилась. Приблизившись к ней на несколько шагов, он подобрал сломанную лопату, с улыбкой поднял её на плечо, медленно подошёл к двери и постучался. Изнутри не до-



носились ни звука. Улыбка замерла у Йорка на губах, когда он порывисто толкнул дверь.

Какой-то человек поднялся и сердито шагнул к нему навстречу,—человек, воспалённые глаза которого вдруг в изумлении уставились на Йорка, а руки, протянутые было вперёд, поднялись предостерегающе,—человек, который вдруг задохнулся, захрипел и в припадке повалился навзничь.

Но, не дав ему упасть, Йорк вытащил его на воздух, к солнцу. В борьбе оба они рухнули на землю, перевалившись друг через друга. Но через минуту Йорк уж сидел, поддерживая на коленях судорожно бившееся тело своего прежнего компаньона и вытирая пену с его подёргивавшихся губ. Постепенно судороги уменьшились, потом стихли совсем; и в руках его лежало бесчувственное тело Скотта.

Несколько минут Йорк держал Скотта, не двигаясь и глядя ему в лицо. Доносившийся из лесу стук топора — еле слышный, призрачный звук — только и нарушал тишину. Высоко над холмом кружил ястреб. А потом послышались голоса, подошли двое мужчин.

— Подрались?

Нет, припадок; не помогут ли они перенести больного в гостиницу?

И там обессиленный товарищ Йорка лежал целую неделю, не зная ничего, кроме видений, вызванных болезнью и бредом. На восьмой день, на рассвете, он очнулся, открыл глаза и, взглянув на Йорка, пожал ему руку; потом заговорил:

— Значит, всё-таки ты. А я думал, это спирт со мной шутки играет.

Вместо ответа, Йорк взял его руки в свои и, облокотившись о кровать, с ласковой улыбкой стал шутя раскачивать их взад и вперёд.

— Ведь ты был за границей? Ну как, Париж понравился?

— Да ничего. А как тебе понравился Сакраменто?

— Первый сорт.

И это было всё, что они смогли сказать друг другу. Вскоре Скотт снова открыл глаза.

— Ослаб я здорово.

— Ничего, скоро поправишься.

— Вряд ли.

Наступило долгое молчание; они слышали, как где-то рубят дрова, как Сэнди-Бар просыпается и начинает свой новый день. Потом Скотт медленно и с трудом повернулся к Йорку и сказал:

— Я ведь тогда чуть не убил тебя.

— Жалко, что не убил.

Они снова пожали друг другу руки, но рука Скотта заметно слабела. Казалось, что он собирает всю свою волю для какого-то усилия.

— Старик!

— Дружище!

— Ближе!

Йорк нагнул голову к его лицу.

— Ты сердишься за то утро?

— Да.

Лёгкая усмешка мелькнула в уголке голубых глаз Скотта, когда он шепнул:

— Старик, а ведь ты переложил тогда соды в лепёшки.

Говорят, что это были его последние слова. И когда солнце, которое столько раз заходило, оставляя позади себя пустую злобу этих глупцов, снова взошло и взглянуло на них, теперь примирившихся, оно увидело, что холодная рука Скотта не ответила на горячее пожатие его бывшего компаньона, и поняло, что в вражде, родившейся в Сэнди-Баре, пришёл конец.

---

## БЛУДНЫЙ СЫН МИСТЕРА ТОМСОНА

**В**се мы знали, что мистер Томсон разыскивает своего сына — и сына с весьма неважной репутацией. То, что он только ради этого и едет в Калифорнию, не было секретом для его спутников, а физические приметы, так же как и моральные несовершенства пропавшего без вести блудного сына, стали известны нам благодаря откровенным излияниям родителя.

— Вы рассказывали о молодом человеке, которого повесили в посёлке Рыжая Собака за кражу золотого песка? — спросил как-то мистер Томсон у одного палубного пассажира. — Не помните ли, какие у него были глаза?

— Чёрные, — ответил пассажир.

— Гм, — сказал мистер Томсон, перебирая что-то в уме, — у Чарльза были голубые. — И отошёл в сторону.

Может, виной этому был его недружелюбный тон, может, склонность западных жителей находить смешное в любом убеждении или чувстве, которое им навязывается, но поиски мистера Томсона служили для пассажиров предметом насмешек. По рукам у них ходило состряпанное кем-то воззвание о пропавшем Чарльзе, адресо-

ванное «Ко всем тюремным надзирателям и сторожам». Каждый вспоминал о своих встречах с Чарльзом при самых прискорбных обстоятельствах. Однако следует отдать должное моим соотечественникам: сатирическое произведение скрыли от мистера Томсона, так как всем была известна солидная сумма, ассигнованная им на поиски сына. В присутствии старика не говорилось ничего такого, что могло бы причинить боль отцовскому сердцу, а равным образом помешать возможному осуществлению меркантильных планов насмешников. Шутливое предложение мистера Брейси Тибетса образовать акционерное общество по «изысканию» пропавшего юнца пользовалось одно время среди нас большим успехом.

На взгляд поверхностного критика персона мистера Томсона, вероятно, не отличалась ни живописностью, ни приятными чертами характера. Жизнь его, рассказанная как-то за обедом им же самим, была при всей её необычности весьма практической. Прожив суровую, беспокойную юность, схоронив в зрелые годы павшую духом жену и доведя сына до того, что тот убежал в матросы, мистер Томсон вдруг обратился к религии.

— Я подцепил это в Нью-Орлеане, в пятьдесят девятом году, — говорил он за обеденным столом таким тоном, как будто речь шла о заразной болезни. — Вступил на стезю добродетели. Передайте мне бобы.

Очень возможно, что практические свойства характера помогали мистеру Томсону в его безнадежных поисках. В руках у него не было никаких нитей, ведущих к местонахождению сбежавшего сына, и никаких доказательств, что сын ещё жив. По туманным воспоминаниям о

двенадцатилетнем мальчике он надеялся узнать взрослого мужчину.

Мистеру Томсону как будто повезло. Это было одним из тех случаев, о которых он никогда не рассказывал. Существуют, как я полагаю, две версии этой истории. Согласно первой, мистер Томсон пришёл в больницу и узнал сына по духовному гимну, который больной распевал, вспомнив в бреду своё детство. Эта версия, дававшая повод для высоких душевных переживаний, была весьма популярна, а в изложении преподобного мистера Гашиingtonа, вернувшегося из поездки в Калифорнию, неизменно очаровывала слушателей. Вторая версия много сложнее и, раз уж я коснулся её здесь, заслуживает более подробного рассказа.

Всё это произошло после того, как мистер Томсон решил прекратить поиски среди живых и принялся за обследование кладбищ и тщательное изучение равнодушных «здесь покоится такой-то». В то время он был частым посетителем Одинокой горы. Мрачное одиночество этой унылой вершины казалось ещё более мрачным от белых мраморных памятников, которыми Сан-Франциско, словно якорем, сдерживал своих усопших граждан, защищал их там в глубине от зыбучих песков и укрывал от свирепого, упрямого ветра, силившегося снести их с места. Этому ветру старик противопоставлял свою волю, столь же упрямую, — лицо у него было суровое, борода тронута сединой, высокий цилиндр с крепом низко надвинут на лоб, — и проводил целые дни, читая вслух надписи на могилах. Обилие цитат из священного писания радовало его, и он любил сверять их со своей карманной библией.

— Это из псалмов, — сказал он как-то случившемуся поблизости могильщику. Тот промолчал.

Нисколько не смутившись этим, мистер Томсон тут же спрыгнул в вырытую могилу и задал более практический вопрос:

— Вам не приходилось хоронить некоего Чарльза Томсона?

— Будь он проклят, ваш Томсон! — напрямик отрезал могильщик.

— Так оно, вероятно, и есть, если он был неверующий, — сказал старик, выбираясь из могилы.

Вероятно, это происшествие задержало мистера Томсона на кладбище дольше обычного. Когда он повернулся лицом к городу, там уже зажигались огни, и свирепый ветер, почти заметный для глаза по туману, ходившему волнами, гнал старика вперёд или прятался в засаду и свирепо налетал на него из-за угла какой-нибудь безлюдной окраинной улицы. На одном из таких углов нечто иное, но столь же злобное и неясное для глаза, накинулось на мистера Томсона, пробормотав проклятие, приставив в упор пистолет и требуя денег. Покушение натолкнулось на железную волю и стальную хватку старика. Противники свалились на землю. Однако в следующую же минуту старик вскочил на ноги, в одной руке держа отобранный пистолет, а другой сжимая горло противника — наглого, молодого, разъярённого.

— Молодой человек, — сказал мистер Томсон, сжав свои тонкие губы, — как вас зовут?

— Томсон!

Пальцы старика оставили горло пленника и, не ослабляя своей хватки, перебрались ближе к плечу.

— Пойдём, Чарльз Томсон, — сказал он и повёл его в отель. Что произошло в отеле, так и осталось неизвестным, но на следующее утро

все узнали, что мистер Томсон нашёл своего сына.

К только что рассказанной неправдоподобной истории следует добавить, что ни в наружности, ни в поведении молодого человека не было ничего такого, что могло бы придать ей бóльшую вероятность. Серьёзный, сдержанный и красивый, преданный своему вновь обрётённому отцу, он принял достаток и обязанности новой жизни с тем солидным спокойствием, которым общество в Сан-Франциско не могло само похвалиться и потому гнушалось. Кое-кто взирал на это свойство его характера с презрением, усматривая в молодом человеке склонность к ханжеству; другие находили в нём чёрточки характера, унаследованные от отца, и предрекали ему ту же беспокойную старость. Все, однако, сходились на том, что это солидное спокойствие несколько не противоречит уменью устраивать свои денежные дела, за которое и отца и сына очень уважали.

И всё-таки старик, казалось, не нашёл своего счастья. Возможно, что, добившись цели, он лишился своей миссии; возможно, — и это кажется гораздо более вероятным, — он не чувствовал любви к вернувшемуся сыну. Покорность, которой он требовал, оказывалась ему беспрепятственно, перерождение, добиться которого от сына он решил во что бы то ни стало, было полное; и всё-таки ничто не радовало его. Обратив сына на путь истинный, мистер Томсон выполнил то, что требовала от него религия, и всё-таки удовлетворения он не получил. Ища разгадки мучивших его сомнений, старик перечёл притчу о блудном сыне, которая давно уже служила ему руководством, и обнаружил, что забыл о празднестве примирения. Оно должно было облечь надлежащей торжественностью таинство, сверши-

вшееся между ним и сыном. И вот, через год после появления Чарльза, он решил устроить пир.

— Пригласи всех, Чарльз, — сказал он сухо, — всех, кто знает, что я вывел тебя из свиного хлева и вертепа блудниц. Пусть едят, пьют и веселятся.

Может быть, старик преследовал иные цели, ещё не вполне ясные ему самому. Красивый дом, который он построил на дюнах, казался подчас пустым и холодным. Мистер Томсон часто ловил себя на том, что старается подметить в строгом лице Чарльза черты маленького мальчика, которого он едва помнил и о котором за последнее время много думал. Он считал, что это признак наступающей старости, что он начинает впадать в детство. Увидев однажды в своей чопорной гостиной ребёнка служанки, случайно забежавшего туда, старик хотел взять его на руки, но ребёнок убежал, испугавшись его заросшего седой бородой лица. Поэтому сейчас было самое время созвать гостей и выбрать из цветника сан-францискских девиц невестку. А потом появится ребёнок — мальчик, которого он будет растить с первых же дней его жизни и полюбит так, как не мог полюбить Чарльза.

Все мы были приглашены. Пришли Смиты, Джонсы, Брауны и Робинсоны, разливающие вокруг себя жизнерадостность, не сдерживаемую даже и признаком уважения к хозяину, что многим из нас кажется столь обворожительным. Церемония могла бы пройти бурно, если б этому не препятствовало общественное положение действующих лиц. Нужно сказать, что мистер Брейси Тибетс, наделённый от природы даром подмечать всё комическое, а сейчас, кроме того, подстрекаемый лукавыми глазками барышень Джонс, держался так странно, что привлёк к се-



бе внимание мистера Чарльза Томсона, который подошёл к нему со словами:

— Вам, должно быть, нездоровится, мистер Тибетс. Позвольте мне проводить вас до кареты. Только попробуй сопротивляться, собака, я тебя живо в окно вышвырну. Будьте любезны, сюда, в комнате очень душно и тесно.

Вряд ли следует говорить, что общество слышало только часть этой беседы; остального мистер Тибетс не разглашал и впоследствии очень жалел, что внезапное нездоровье помешало ему быть свидетелем одного забавного происшествия, которое самая бойкая мисс Джонс назвала «гвоздём программы» и о котором я спешу рассказать здесь.

Это произошло за ужином. Погрузившись в свои мысли, мистер Томсон, очевидно, не замечал бесцеремонности гостей. Как только скатерть была убрана, он поднялся и строго постучал по столу. Хихиканье барышень Джонс подхватила вся их сторона. Чарльз Томсон, сидевший в конце стола, в замешательстве робко поднял голову.

— Он будет славословить господа бога!

— Он прочтёт молитву!

— Тише, тише, слово оратору! — раздавалось в комнате.

— Сегодня исполнился год, братья и сёстры во Христе, — в мрачном раздумьи начал мистер Томсон, — сегодня исполнился год с тех пор, как сын мой, расточивший имение своё с блудницами (хихиканье сразу смолкло), вернулся из свиного хлева домой. Посмотрите на него теперь. Чарльз Томсон, встань! (Чарльз Томсон встал.) Прошёл ровно год — и посмотрите на него теперь.

Чарльз Томсон, стоявший перед нами в элегантном фраке, бесспорно, был красивый блуд-

ный сын, — раскаявшийся блудный сын, грустные, покорные глаза которого встретили суровый, холодный взгляд отца. Младшая мисс Смит бессознательно потянулась к нему от всей глубины своего глупого, чистого сердечка.

— Пятнадцать лет назад он ушёл из моего дома, — говорил мистер Томсон, — и стал бродягой и блудным сыном. Я сам был полон греха, о братья во Христе, полон злобы и горечи (старшая мисс Смит: «Аминь»), но, хвала господу, я преодолел свою злобу. Вот уже пять лет, как душа моя обрела покой, который выше человеческого разумения. Обрели ли душевный покой вы, друзья мои? (Девушки хором: «Нет, нет!» Кокс, мичман с правительственного шлюпа «Везерфильд»: «А с чем его кушают?») Стучите, и отверзется вам! И когда я понял своё заблуждение и оценил сокровище благодати, — продолжал мистер Томсон, — я решил приобщить к ней своего сына. По морю и по суше искал я его и не падал духом. Я не стал ждать, когда он сам придёт ко мне, хотя и мог так сделать, руководствуясь книгой, величайшей из всех книг. Я разыскал его в свином хлеву, среди... (Конец фразы покрыло шуршанье юбок вставших из-за стола дам.) Благие деяния — вот мой девиз, братья во Христе. По делам их узнаете их, и вот моё деяние.

Признанное всеми деяние, на которое ссылался мистер Томсон, побледнело, устремив взгляд на открытую на веранду дверь, у которой, вот уже несколько минут, толпились слуги с разинутыми ртами: теперь там происходила какая-то суматоха. Шум не стихал. Человек, одетый в отрёпье и, очевидно, пьяный, прорвался сквозь толпу слуг и, пошатываясь, вошёл в зал. Попав из тумана и темноты в залитую светом тёплую комнату,

он остановился, ослеплённый и растерянный. Потом снял ветхую шляпу, провёл ею раз-другой по глазам, стараясь опереться, но без особого успеха, на спинку стула. И вдруг его блуждающий взгляд остановился на побледневшем лице Чарльза Томсона. С загоревшимися, словно у ребёнка, глазами, с визгливым, слабым смехом он кинулся вперёд, ухватился за край стола, опрокинул бокалы и буквально упал на грудь блудного сына.

— Чарли! Дьявол ты этакий! Здорово, дружище!

— Тш, сядьте, тш! — сказал Чарльз, торопясь вырваться из объятий нежданного гостя.

— Полюбуйтесь-ка на него! — продолжал незнакомец, не слушая уговоров. Он откинулся назад, не выпуская несчастного Чарльза из рук, и с нескрываемым восхищением разглядывал его праздничный костюм. — Полюбуйтесь! Хорош красавчик? Чарли, я горжусь тобой!

— Вон из моего дома! — крикнул мистер Томсон, поднявшись со стула и грозно блеснув серыми, холодными глазами. — Чарльз, как ты смеешь?

— Не кипятись, старикашка! Чарли, кто этот старый индюк? А?

— Тише, тише, вот выпей! — Дрожащими руками Чарльз Томсон налил стакан вина. — Выпей и уходи; завтра — в любое время, а сейчас уходи, уходи отсюда! — Но, не дав жалкому оборванцу выпить вино, старик, бледный от ярости, кинулся к нему. Приподняв его своими сильными руками и протащив сквозь круг испуганных гостей, он уже подошёл к дверям, распахнутым слугами, когда Чарльз Томсон, словно очнувшись от оцепенения, крикнул:

— Остановитесь!

Старик остановился. Сквозь открытую дверь врывался холодный ветер и туман.

— Что это значит? — спросил он, повернув к Чарльзу насупленное лицо.

— Ничего, только остановитесь, ради бога! Не сегодня, — подождите до завтра. Не надо, умоляю вас, не надо.

Может быть, мистер Томсон почувствовал что-то в голосе молодого человека, может быть, соприкосновение с оборванцем, которого он сдерживал своими сильными руками, остановило его, но сердце старика вдруг сжалось от смутного, неопределённого страха.

— Кто это? — хрипло прошептал он.

Чарльз молчал.

— Отойдите! — крикнул старик окружившим его гостям. — Чарльз, иди сюда! Я приказываю, я... прошу тебя, скажи, кто этот человек?

Только двое расслышали ответ, который беззвучно прошептал Чарльз Томсон:

— Ваш сын.

Утро, забрезжившее над унылым холмом, уже не застало гостей в парадных залах мистера Томсона. Лампы всё ещё горели тусклым и холодным огнём в покинутых комнатах, покинутых всеми, кроме троих мужчин, которые сбились в кучку, словно ища тепла в холодной зале. Один из них забылся пьяным сном на диване; у ног его сидел другой, известный раньше под именем Чарльза Томсона; а над ними, измученный, осунувшийся, склонился мистер Томсон, устремив свои серые глаза в одну точку, поставив локти на колени, закрыв уши руками, словно стараясь не слышать печального, настойчивого голоса, который, казалось, наполнял всю комнату.

— Клянусь, я не собирался обманывать вас. Имя, которое я назвал тогда, было первое, что

пришло мне в голову, имя человека, которого я считал умершим, беспутного товарища моей постыдной жизни. А когда вы начали расспрашивать дальше, я вспомнил то, что слышал от него самого, и решил смягчить ваше сердце и добиться свободы. У меня была только эта цель, клянусь вам! Но когда вы назвали себя и я увидел, что передо мной открывается новая жизнь, тогда, тогда... О сэр! Покушаясь на ваш кошелёк, я был голоден, безрассуден, не имел крыши над головой; покусившись на вашу любовь, я чувствовал беспомощность, отчаяние, тоску!

Старик сидел неподвижно. Только что объявившийся блудный сын мирно храпел на своём роскошном ложе.

— У меня нет отца. Я никогда не знал другого дома, кроме вашего. Передо мной встало искушение. Я был счастлив всё это время, очень счастлив.

Он поднялся и подошёл к старику.

— Не бойтесь, я не стану на дороге вашего сына. Сегодня я уйду и никогда больше не вернусь сюда. Мир велик, сэр, а ваша доброта научила меня искать честный жизненный путь. Прощайте! Вы не хотите пожать мне руку? Ну, что ж! Прощайте!

Он отошёл от него. Но, дойдя до двери, вдруг вернулся и, обняв седую голову, поцеловал её раз и ещё раз.

— Чарльз!

Ответа не было.

— Чарльз!

Старик встал и, шатаясь, подошёл к двери. Дверь была открыта. До него донёсся шум просыпающегося большого города, навсегда поглотивший звуки шагов блудного сына.

---

## КАК САНТА КЛАУС ПРИШЁЛ В СИМПСОН-БАР

**В** долине реки Сакраменто шли дожди. Норт-Форк выступил из берегов, и Змеиный ручей нельзя было перейти вброд. Валуны, отмечавшие летом брод у Симпсон-Бара, скрылись из виду под широкой пеленой воды, простиравшейся до самых предгорий. Дилижанс застрял у Грэнджера, последняя почта увязла в болоте, и верховой едва спасся вплавь. «Под водой, — не без гордости сообщал еженедельник «Лавина Сиерры», — находится площадь, равная штату Массачузетс».

И в предгорьях стояла погода не лучше. Ил густым слоем покрывал горную тропу; путь загромождали фургоны, которых ни физической силой, ни моральным воздействием нельзя было сдвинуть с гиблого места; загнанные упряжки и немилосердная брань, словно вехи, указывали дорогу на Симпсон-Бар. А дальше, отрезанный от мира и не доступный человеку, Симпсон-Бар ласточкиным гнездом лепился к каменистому фризу и острым капителям Столовой горы, содрогаясь под напором бури. Был канун рождества 1862 года.

Ночь спустилась над посёлком, и огоньки замерцали в окнах лачуг по сторонам дороги,

вдоль которой теперь с шумом неслись беззаконные ручьи и гулял мародёр-ветер. Как и всегда, большинство жителей посёлка собралось в лавке Томсона. Они теснились возле раскалённой докрасна печки и в молчании поплёвывали на неё, что являлось принятой формой общения, до известной степени заменявшей беседу. В самом деле, почти все способы увеселения давно уже были исчерпаны в Симпсон-Баре: наводнение приостановило работы в ущельях и на реке, а связанное с этим отсутствие денег и виски отнимало привлекательность у самих запретных удовольствий. Мистер Гемлин был вынужден покинуть Симпсон-Бар с пятьюдесятью долларами в кармане, — это было всё, что он смог реализовать из тех крупных сумм, которые выиграл, успешно практикуясь в своей многотрудной профессии. «Если б меня попросили, — говаривал он впоследствии, — если б меня попросили указать хорошенькую деревушку, где отставному игроку, который не гонится за деньгами, можно без скуки поупражняться в своём ремесле, я назвал бы Симпсон-Бар; но для молодого человека, обременённого семейством, существующим на его труды, это занятие невыгодное». Так как семейство мистера Гемлина состояло преимущественно из совершеннолетних особ женского пола, то замечание это приводится больше для того, чтобы показать сатирическое направление его ума, нежели точный объём его семейных обязанностей.

Как бы там ни было, невинные жертвы его насмешек проводили этот вечер в лавке, погружившись в полную апатию, порождённую праздностью и скукой. Даже чмоканье копыт, раздавшееся неожиданно перед крыльцом, несколько не оживило их. Один только Дик Буллен пере-

стал прочищать свою трубку и поднял голову; никто другой из присутствующих не проявил интереса к вошедшему и ничем не показал, что узнаёт его.

Это была фигура, достаточно знакомая всему обществу и известная в Симпсон-Баре под именем Старика, — человек лет пятидесяти, седой и плешивый, но с румяными щеками. Лицо его, выражавшее готовность сочувствовать чему угодно, впрочем не чрезмерную, могло, подобно хамелеону, принять любой цвет или оттенок соседствующих настроений и чувств. Он, повидимому, только что оставил какую-то весёлую компанию и, не заметив сначала унылого настроения присутствующих, шутливо хлопнул по плечу первого, кто подвернулся под руку, и развалился на свободном стуле.

— Ну и слышал я историю, ребята! Знаете Смайли, нашего Джима Смайли? Самый занятный парень во всём Симпсон-Баре! Ну, так вот Джим мне рассказал потешную историю насчёт...

— Болван твой Смайли, — прервал его мрачный голос.

— Хорёк вонючий, — прибавил другой похоронным тоном.

После таких решительных высказываний наступило молчание. Старик обвёл присутствующих быстрым взглядом. Потом лицо его изменило выражение.

— Это-то верно, — помолчав, сказал он в раздумьи, — верно, что вроде как и болван, да, пожалуй, и на хорька смахивает. Это конечно. — Он помолчал с минуту, видимо, с грустью размышляя о пороках всем опротивевшего Смайли. — Скверная погода, а, ребята? — прибавил он, входя в русло царившего настроения. — Все



мы по уши в долгу, а денег в этом сезоне, должно быть, не увидим. А завтра рождество.

При этих словах можно было заметить движение среди присутствующих, но выражало оно удовольствие или разочарование, сказать было трудно.

— Да, — продолжал Старик унылым тоном, который он бессознательно усвоил себе за последние несколько минут, — да, завтра рождество, а нынче сочельник. Вот, ребята, я и подумал, то есть мне мысль такая пришла, так, ни с того ни с сего, знаете ли, чтобы вы собрались сегодня ко мне, повеселились бы, что ли, вместе. А теперь, я думаю, может, вы и не захотите? Не в настроении, может? — прибавил он, заискивающе и тревожно вглядываясь в лица товарищей.

— Не знаю, право, — ответил Том Флинн, несколько оживляясь. — Может, и придём. А как твоя жена, Старик? Что-то она скажет?

Старик заколебался. Его супружеская жизнь была не из удачных, о чём знал весь Симпсон-Бар. Его первая жена, нежная, милая женщина, долго страдала втайне от ревнивых подозрений мужа, пока в один прекрасный день он не пригласил весь Симпсон-Бар, чтобы при свидетелях уличить её в неверности. Нагрянув всей компанией к Старика, они застали робкую малютку одну, — она мирно занималась домашним хозяйством, — и ретировались, пристыжённые и сбитые с толку. Кроткой малютке нелегко было оправиться от потрясения, вызванного этой горькой обидой. С трудом восстановив своё душевное равновесие, она выпустила любовника из чулана, куда он был спрятан, и бежала с ним. В утешение покинутому супругу она оставила трёхлетнего мальчика. Теперешняя жена Старика слу-

жила прежде у него стряпухой. Это была крупных размеров женщина, преданная и воинственная.

Старик ещё не успел ответить, как Джо Диммик напрямик высказал мнение, что дом (здесь имя всевышнего многократно упоминалось всеу) не чей-нибудь, а Стариков, и что на его месте он приглашал бы кого вздумается, даже если бы это угрожало его вечному блаженству, и никакие силы ада не воспрепятствовали бы его намерению.

Всё это было изложено в сильных и энергичных выражениях и много теряет в пересказе.

— Само собой, оно конечно. Это-то верно, — сказал Старик, сочувственно хмурясь. — Насчёт этого беспокоиться нечего. Дом мой собственный, каждый гвоздик моими руками вколочен. Вы её не бойтесь, ребята. Она, может, малость поругается сначала, по бабьему обычаю, а там, глядишь, и обойдётся.

Втайне Старик надеялся, что в трудную минуту его поддержат виски и пример более храбрых приятелей.

Дик Буллен, оракул и вожак Симпсон-Бара, до сих пор молчал. Теперь он вынул трубку из рта.

— А как поживает твой Джонни, Старик? По моему, он что-то заскучал: я его видел на берегу, он швырял камнями в китайцев. И, сдаётся мне, без всякого удовольствия. Вчера их целая партия утонула — выше по реке, — я и вспомнил про Джонни, каково-то ему без них будет! Так, если он захворал, может, мы помешаем?

Отец, явно растроганный не только чувствительной картиной предстоящих Джонни лишений, но и видимым вниманием оратора, поспешил его

уверить, что Джонни лучше и что «ему полезно будет немножко развлечься». Дик встал, встряхнулся и со словами: «Я готов. Ступай вперёд, Старик, мы за тобой», оказался впереди всех, с диким воплем бросился к двери и выскочил в темноту. Пробегая через переднюю комнату, он выхватил из огня пылающую головню. Этот жест повторили все остальные. Они, толкая друг друга, кинулись за ним следом, и не успел хозяин лавки понять, что задумали его гости, как комната опустела.

Ночь была тёмная, хоть глаз выколи. Первый же порыв ветра задул самодельные факелы, и только по красным головням, которые плясали и кружились во мраке, словно пьяные болотные огоньки, можно было угадать, где находятся люди. Дорога шла вверх по Сосновому кэньону, в конце которого широкий и низкий барак, крытый корой, притулился к горному склону. Это был дом Старика и вход в шахту, где он работал, когда приходила такая охота. Здесь компания задержалась на минуту из уважения к хозяину, который, пыхтя, догонял их.

— Может, вы обождёте минуточку здесь, а я пойду взгляну, всё ли в порядке, — сказал Старик спокойным тоном, который несколько не выражал его чувств. Это предложение было принято благосклонно, дверь открылась и снова закрылась за хозяином, и компания, прячась под выступом кровли, ждала и слушала, прижавшись к стене.

Несколько минут ничего не было слышно, кроме звонкой капли, падающей с крыши, да шороха и шума качающихся ветвей. Они забеспокоились и начали перешёптываться, делясь друг с другом своими подозрениями: «Должно быть, старуха проломила ему голову с первого удара!»—

«Заманила в шахту да и заперла там, пожалуй!»—  
«Сбила с ног я сидит на нём!»—«А может, кипятит что-нибудь, обварить нас хочет; ребята, станьте-ка от дверей подальше!» Как раз в это время звякнула щеколда, дверь медленно отворилась, и голос сказал:

— Ну, входите, чего мокнуть на дожде!

Голос не принадлежал ни Старику, ни его жене. Это был голос мальчика, слабый дискант, разбитый, с той неестественной хрипотцой, которую порождают бродяжничество и заброшенность. Снизу вверх на них смотрело мальчишеское лицо, — лицо, которое могло бы быть миловидным и даже тонким, если б изнутри его не омрачало познание зла, снаружи — грязь и жизненные лишения. Мальчик кутался в одеяло и, как видно, только что встал с постели.

— Входите, — повторил он, — и не шумите. Старик там, разговаривает с матерью, — продолжал он, указывая на комнату рядом, повидимому, кухню, откуда слышался заискивающий голос Старика. — Пусти меня, — буркнул он недовольно Дик у Буллену, который подхватил его вместе с одеялом, делая вид, будто хочет бросить его в огонь, — пусти, старый чорт, слышишь, что ли?

При этом обращении Дик опустил Джонни на землю, сдерживая улыбку, а все остальные, стараясь не шуметь, вошли и расселись вокруг длинного некрашеного стола, занимавшего середину комнаты. Джонни важно подошёл к шкафу, достал оттуда кое-какую провизию и выложил её на стол.

— Вот виски. И сухари. И копчёная селёдка. И сыр. — По дороге к столу он откусил кусок сыру. — И сахар. — Он зачихнул горсть сахару в рот маленькой и очень грязной рукой. — И та-

бак. Есть ещё сушеные яблоки, только я до них не охотник. От яблоков живот пучит. Вот, — заключил он, — теперь валяйте ешьте и не бойтесь ничего. Я-то старухи не боюсь. Она мне не родная. Ну, пока.

Он шагнул на порог маленькой комнатки, чуть побольше чулана, где в тёмном углу стояла детская кровать. С минуту он стоял и глядел на гостей, закутавшись в одеяло, из-под которого виднелись босые ноги, потом кивнул им.

— Эй, Джонни! Ты не собираешься ли опять ложиться? — спросил Дик.

— Да, собираюсь, — ответил Джонни решительно.

— Что с тобой, старик?

— Болен.

— Чем же ты болен?

— У меня лихорадка. И цыпки на руках. И ревматизм, — ответил Джонни, скрываясь в чулане. После минутного молчания голос его послышался из темноты, должно быть, из-под одеяла: — И чирьи.

Наступило неловкое молчание. Мужчины поглядывали друг на друга или на огонь. Не помогло и соблазнительное угощение на столе; казалось, вот-вот ими овладеет то же уныние, что и в лавке Томсона, но вдруг заискивающий голос Старика, неосторожно повышенный, донёсся из кухни:

— Конечно, это-то верно. Само собой, все они лентяи, пьяницы и бездельники, а этот Дик Буллен почище всех остальных. Хватило же смысла тащиться в гости, когда в доме больной и есть нечего. Я им так и сказал: «Буллен, говорю, ты либо пьян вдребезги, либо совсем дурак, говорю, что это тебе в голову взбрело? Стэйплс, говорю, будь же человеком, и не стыдно

тебе поднимать дым коромыслом у меня в доме, когда кругом лежат больные? Так вот нет же, взяли и пришли. Чего и ждать от этого сброда, который шляется тут по Симпсон-Бару.

Компания разразилась хохотом. Слышен ли был этот хохот на кухне, или взбешённая подруга Старика истощила все другие способы выразить своё презрение и негодование, трудно сказать, но кухонная дверь вдруг сильно хлопнула. Через минуту вошёл Старик, в полном неведении причины общего веселья, и кротко улыбнулся.

— Старухе вздумалось сбегать тут неподалеку, навестить миссис Мак-Фадден, — объяснил он развязным тоном, садясь к столу. Как ни странно, этот досадный случай пришёлся кстати и разогнал неловкость, которую начинали чувствовать все гости, и присущая им непосредственность вернулась вместе с хозяином. Я не собираюсь описывать застольное веселье этого вечера. Любознательный читатель должен удовлетвориться указанием, что разговоры отличались той же возвышенной содержательностью, той же осторожностью в выражениях, тем же тактом, тем же изысканным красноречием и той же логикой и связностью речи, какими отличаются подобные мужские сборища к концу вечера в более цивилизованных местностях и при более счастливых обстоятельствах. Рюмок не били, оттого что их вовсе не было; виски не лили бестолку на пол и на стол, оттого что его и так не хватало.

Около полуночи веселье было прервано.

— Т-с-с, — сказал Дик Буллен, поднимая руку. Из чулана послышался ворчливый голос Джонни: «Ох, па!»

Старик поспешно встал и скрылся в чулане. Вскоре он появился снова.

— Опять у него ревматизм разыгрался, — объявил он. — Надо бы растереть мальчишку.

Он приподнял оплетённую бутылку и потряс её. Она была пуста. Дик Буллен, сконфуженно улыбаясь, поставил на стол свою жестяную кружку. Другие сделали то же. Старик освидетельствовал содержимое кружек и сказал с надеждой в голосе:

— Пожалуй, хватит: ему ведь немного нужно. А вы все подождите минутку, я скоро вернусь. — Затем он скрылся в чулане, захватив с собой виски и старую фланелевую рубашку. Дверь закрылась не вплотную, и последовавший диалог был отчётливо слышен:

— Ну, сынок, где у тебя больше всего болит?

— Иногда повыше, вот здесь, иногда пониже, вот тут, а всего хуже вот где, отсюда и досюда. Три здесь, па.

Молчание как будто указывало на то, что растирание идёт во-всю. Потом Джонни сказал:

— Веселитесь там, па?

— Да, сынок.

— Завтра рождество, правда?

— Да, сынок. Ну, а теперь как тебе?

— Лучше. Три немножко пониже. А что это а рождество всё-таки? Зачем оно?

— Это уж такой день.

Этого исчерпывающего объяснения было, по-видимому, достаточно, потому что растирание продолжалось в безмолвии.

Скоро Джонни заговорил снова:

— Мать говорила, будто везде, кроме Симпсон-Бара, все друг другу дарят на рождество подар-

ки, а потом как начала тебя ругать!.. Она говорит, есть такой человек, зовут его Санди Клас, понимаешь, не белый, а вроде китайца, он спускается по трубе в ночь под рождество и приносит подарки детям, мальчикам, вроде меня. Кладёт будто бы в башмаки! Вот ведь как она очки втирает! Полегче теперь, па, где же ты трёшь, совсем не там болит. Врёт, небось, лишь бы позлить нас с тобой? Не три здесь... Да что с тобой, па?

В торжественной тишине, окутавшей дом, ясно слышались вздохи ближних сосен и капёль, падавшая с листьев. Голос Джонни тоже стал тише, когда он заговорил опять:

— Нечего тебе расстраиваться, ведь я теперь скоро поправлюсь. А что там гости делают?

Старик приоткрыл дверь и выглянул. Гости сидели довольно мирно, а на столе валялось несколько серебряных монет и тощий кошелек оленьей кожи.

— Бьются об заклад, а может, хотят сыграть партию-другую. Всё в порядке, — ответил он Джонни и снова принялся за растирание.

— Мне бы тоже хотелось перекинуться в картишки, выиграть хоть что-нибудь, — сказал Джонни задумчиво, помолчав немного.

Старик бегло повторил привычную, как видно, формулу, что пусть только Джонни подождёт, вот попадётся отцу богатая жила, тогда у них будет уйма денег и т. д.

— Да, — сказал Джонни, — только ничего тебе не попадётся. И не всё ли это равно — тебе попадётся или я выиграю. Лишь бы повезло. А вот насчёт рождества — занятная штука, верно? Почему оно называется «рождество»?

Может быть, из опасения, как бы не подслушали гости, или из смутного чувства неловкости



Старик отвечал так тихо, что его не слышно было в соседней комнате.

— Да, — сказал Джонни, проявляя теперь значительно меньше интереса к теме разговора, — я уж о нём слышал. Ну ладно, хватит, па. Как будто полегче стало. А теперь закутай меня получше одеялом. Вот так. Ну, а теперь, — прибавил он заглушённым шопотом, — посиди тут со мной, пока я не усну. — Он высвободил руку из-под одеяла и, уцепившись за отцовский рукав, улёгся снова.

Несколько минут Старик терпеливо ждал. Потом странная тишина возбудила его любопытство; не вставая с постели, он осторожно приоткрыл дверь свободной рукой и заглянул в большую комнату. К его беспредельному удивлению, в ней было темно и пусто. Но как раз в это время дотлевавшая на очаге головня подломилась, и при свете взметнувшегося пламени он увидел фигуру Дика Буллена возле гаснущего очага.

— Эй!

Дик вздрогнул, поднялся с места и, не совсем твёрдо ступая, подошёл к нему.

— Где ребята? — спросил Старик.

— Пошли немножко пройтись вверх по каньону. Зайдут за мной немного погодя. Ты что так уставился, Старик? — прибавил он с принуждённым смехом. — Думаешь, я пьян?

Старику была бы простительна такая мысль, потому что глаза Дика были влажны и лицо покраснелось. Он сделал несколько шагов по комнате, подошёл к очагу, зевнул, встряхнулся, застегнул куртку и засмеялся.

— Маловато было виски, Старик. А ты не вставай, — продолжал он, когда Старик сделал попытку высвободить рукав из пальцев Джон-

ни. — Что за церемонии! Сиди, где сидишь, я сию минуту ухожу. Да вот и они.

В дверь негромко постучали. Дик Буллен быстро её отпер, кивком простился с хозяином и скрылся.

Старик пошёл бы за ним, если б не пальцы ребёнка, которые и сейчас бессознательно цеплялись за его рукав. Он легко мог бы высвободиться: рука была маленькая, слабая, исхудалая. Но, может быть, именно потому, что рука была маленькая, слабая и исхудалая, он раздумал и, подтащив стул поближе к постели ребёнка, опустил на неё голову. Как только он принял эту пассивную позу, недавние возлияния сказались на нём. Комната, казалось ему, то светлела, то темнела, то появлялась, то пропадала, наконец, совсем исчезла из глаз, и он уснул.

Тем временем Дик Буллен, закрыв дверь, очутился лицом к лицу со своими товарищами.

— Ты готов? — спросил Стэплс.

— Готов, — сказал Дик. — Который час?

— За полночь, — был ответ. — Смотри, справишься ли? Ведь это чуть ли не пятьдесят миль туда и обратно.

— Знаю, — ответил Дик коротко.

— А где кобыла?

— Билл и Джек ждут с ней на перекрёстке.

— Ну пусть подождут ещё минутку, — сказал Дик.

Он повернулся и тихо вошёл в дом. В свете оплывающей свечи и гаснущего очага он увидел, что дверь в чулан открыта. Он подошёл на цыпочках и заглянул туда. Старик храпел, уронив голову на стул, длинные ноги беспомощно торчали на одном уровне с опущенными плечами, шляпа съехала на глаза. Рядом с ним, на узкой деревянной кровати, спал Джонни, укутанный

в одеяло так плотно, что виднелась только светлая полоска лба да влажные от пота вихры. Дик Буллен сделал шаг вперёд, остановился в нерешимости и оглянулся через плечо на пустую комнату. Всё было тихо. Вдруг, набравшись смелости, он расправил обеими руками свои огромные усы и наклонился над спящим мальчиком. Но как раз в это время коварный ветер, притаившийся в засаде, метнулся вниз по трубе, раздул уголья и осветил комнату наглым блеском, — и Дик отступил в смущении и страхе.

Товарищи уже дожидались его на перекрёстке. Двое из них боролись в темноте с какой-то неясной, бесформенной массой, которая, когда Дик подошёл ближе, приняла образ крупной чалой лошади.

Это была кобыла. Её нельзя было назвать красавицей. Римский профиль, выпирающий круп, горбатая спина, скрытая жёсткими *machillas*<sup>1</sup> мексиканского седла, и толстые, прямые, как палки, костлявые ноги, — и во всём этом ни тени грации. Полуслепые, однако полные коварства, белёсые глаза, отвислая нижняя губа, нелепая масть, — всё в ней было сплошное безобразие и норовистость.

— Ну, ребята, — сказал Стэплс, — станьте-ка подальше от копыт и не зевайте! Хватайся сразу за гриву, да смотри не упусти правое стремя. Пошёл!

Прыжок в седло, недолгая борьба, скачок коня, и люди шарахаются в стороны, копыта описывают в воздухе круг, ещё два скачка на месте — земля дрожит, быстро звякают шпоры, и голос Дика доносится откуда-то из темноты:

---

<sup>1</sup> *Machillas* — лука (исп.).

— Всё в порядке!

— Не возвращайся по нижней дороге, разве только если времени будет в обрез! Не натягивай поводья, когда будешь спускаться с горы. Мы будем у брода к пяти утра. Пошёл, ого-го! Вперёд!

Короткий плеск, искра, выбитая из камня на дороге, стук копыт по каменистой тропе за по-сёлком — и Дик ускакал.

Воспой же, о муза, поездку Ричарда Буллена! Воспой рыцарскую доблесть, благородную цель, смелый подвиг и схватку с бродягами, трудный путь и все опасности, каким подвергался цвет и гордость Симпсон-Бара! Увы, какая привередница эта муза! Она не хочет и слышать о норовистом коне и дерзком всаднике в лохмотьях, мне приходится следовать за ними пешком, то есть в прозе! Был час ночи, а Дик только что доехал до Змеиной горы. За это время Ховита проявила все свои недостатки и выкинула все свои штучки. Трижды она споткнулась. Дважды она вскидывала свой римский нос в уровень с поводьями и, не обращая внимания на удила и шпоры, с бешеной быстротой неслась напрямик. Дважды она вставала на дыбы и, встав, падала на спину, и проворный Дик дважды садился в седло невредимый, прежде чем она успевала пустить в ход свои проказливые ноги. А милей дальше, у подножья Змеиной горы был Змеиный ручей. Дик знал, что там решится, сможет ли он выполнить то, что задумал, и, свирепо стиснув зубы, дал шенкеля и перешёл от обороны к энергичному наступлению. Разъярённая Ховита начала спускаться с горы. Тут хитроумный Ричард сделал вид, будто хочет сдержать её, притворно бранясь и тревожно вскрикивая. Нечего говорить, что Ховита немедленно понесла.

Не стоит и говорить о рекордном времени, показанном при спуске, — оно занесено в анналы Симпсон-Бара. Довольно сказать, что всего мгновение спустя, как показалось Дикю, Ховита уже разбрызгивала грязь на топких берегах Змеиного ручья. Как и ожидал Дик, с разбегу она пронеслась далеко вперёд и не смогла остановиться, и Дик, натягивая поводья, очутился на середине быстро несущегося потока. Ещё несколько минут вплавь и вброд, и Дик перевёл дыхание на противоположном берегу.

Дорога от Змеиного ручья до Красной горы была довольно ровная. То ли купанье в Змеином ручье охладило пыл Ховиты, то ли искусство наездника показало ей его превосходство, но Ховита больше не тратила излишней энергии на пустые капризы. Один раз она брыкнулась, но только по привычке; один раз она шархнула в сторону, но только потому, что завидела на перекрёстке свежеевыкрашенную часовню. Овраги, канавы, песчаные бугры, зеленющие травой луговины мелькали под её звонкими копытами. Она сильно вспотела, раза два кашлянула, но не ослабла и не сдала. К двум часам всадник миновал Красную гору и начал спускаться на равнину. Десятью минутами позже возницу курьерского дилижанса настиг и обогнал «человек верхом на кляче», — событие, вполне достойное упоминания. В половине третьего Дик привстал на стремях и громко закричал.

Звёзды блестели сквозь разорванные облака, и среди равнины перед Диком встали две колокольни, флаг на шесте и разорванный ряд каких-то чёрных строений. Дик звякнул шпорами, взмахнул риатой, и Ховита рванулась вперёд. Через минуту она проскакала по улице Татле-

вилла и остановилась перед деревянной верандой «Гостиницы Всех Народов».

Что произошло в ту ночь в Татлевилле, собственно говоря, не относится к нашему повествованию. Тем не менее, я могу рассказать в двух словах, что, сдав Ховиту сонному конюху, которого она сразу привела в чувство, лягнув хорошенько, Дик вместе с барменом отправился в обход спящего города. Огни ещё мерцали кое-где в салунах и игорных домах, но они, минуя эти дома, останавливались перед запертыми лавками и настойчивым стуком и громкими криками поднимали хозяев с постели, заставляли отпирать лавки и показывать товар. Иногда их встречали бранью, но чаще внимательно и с интересом, и переговоры неизменно заканчивались выпивкой. Было уже три часа, когда эта увеселительная прогулка кончилась и Дик с небольшим прорезиненным мешком за плечами вернулся в гостиницу. Но здесь его подстерегала Красота — Красота, полная очарований, в пышной одежде, с обольстительными речами и с испанским акцентом. Напрасно повторяла она приглашение в «Эксцельсиор». Это приглашение было решительно отвергнуто сыном Сьерры, — отказ был смягчён улыбкой и последней золотой монетой. Потом Дик вскочил в седло и помчался по пустынной улице — и дальше — по ещё более пустынной равнине, и скоро огни, чёрная линия домов, колокольни и флаг затерялись вдали позади него и ушли в землю.

Буря рассеялась, воздух был живительный и холодный, стали видны очертания придорожных вех. К половине пятого Дик добрался только до часовни на перекрёстке двух дорог. Чтобы не подниматься в гору, он поехал окольной доро-

гой, и в покрывавшей эту дорогу густой грязи Ховита увязала на каждом шагу по самые щётки. Это была плохая подготовка к крутому подъёму следующих пяти миль, но Ховита, подбирая под себя ноги, взяла этот подъём, как всегда, со слепой, безрассудной яростью и через полчаса добралась до ровной дороги, которая вела к Змеиному ручью. Ещё полчаса — и Дик будет у ручья. Он бросил поводья на шею лошади, присвистнул ей и запел песню.

Вдруг Ховита с такой силой шарахнулась в сторону, что менее опытный наездник не усидел бы в седле. С насыпи спрыгнула какая-то фигура и повисла на поводу, а в то же время впереди на дороге возникли тёмные очертания коня и всадника.

— Руки вверх! — выбравшись, скомандовало это второе видение.

Дик почувствовал, что кобыла пошатнулась, задрожала и словно подалась под ним. Он понял, что это означает, и приготовился.

— Прочь с дороги, Джек Симпсон, я тебя узнал, окаянный грабитель. Прочь, а не то...

Он не кончил фразы. Ховита могучим прыжком взвилась на дыбы, одним движением отбросив в сторону повисшую на поводьях фигуру, и бешено ринулась на преграждавшее путь препятствие. Проклятие, выстрел, — и лошадь вместе с грабителем покатились на дорогу, а в следующий момент Ховита была уже далеко от места встречи. Но правая рука наездника, пробитая пулей, беспомощно повисла вдоль тела.

Не замедляя бега Ховиты, он переложил поводья в левую руку, но через несколько минут ему пришлось остановиться и подтянуть под-

пругу, ослабевшую при падении. С больной рукой на это ушло немало времени. Погони он не боялся, но, взглянув на небо, заметил, что звёзды на востоке уже гаснут и что отдалённые вершины утратили свою призрачную белизну и чернеют на светлом фоне неба. Близился день. Весь поглощённый одной мыслью, он забыл о ноющей ране и снова, вскочив в седло, поскакал к Змеиному ручью. Но теперь дыхание Ховиты стало прерывистым, Дик шатался в седле, а небо всё светлело и светлело.

Погоняй, Ричард, скачи, Ховита! Помедли, рассвет!

Когда он подъезжал к ручью, в ушах у него шумело. Была ли это слабость от потери крови или что-нибудь другое? Когда он съехал с холма, голова у него кружилась, в глазах темнело, и он не узнавал местности. Неужели он ошибся дорогой или это в самом деле Змеиный ручей?

Да, это был он. Но шумливый ручей, который он переплыл несколько часов тому назад, вздулся больше чем вдвое и теперь катился быстрой и неодолимой рекой, отделяя от него Змеиную гору. В первый раз за эту ночь сердце у него упало. Река, гора, светлеющая полоса на востоке поплыли перед глазами Дика. Он закрыл глаза, чтобы притти в себя. В этот короткий миг перед ним возник чуланчик в Симпсон-Баре и фигуры спящих отца и ребёнка. Он раскрыл глаза, словно обезумев, бросил куртку, сапоги, пистолет и седло, привязал свою драгоценную ношу покрепче к плечам, стиснул оголённые бока Ховиты голыми коленями и с криком бросился в мутную жёлтую воду. С противоположного берега тоже послышался крик, когда человека и лошадь, несколько минут боровшихся с



сильным течением, подхватило и понесло вниз среди крутящихся брёвен и вырванных с корнем деревьев.

Старик вздрогнул и проснулся. Огонь в очаге погас, свеча в большой комнате догорала, вспыхивая, и в дверь кто-то стучался. Он отпер дверь, но с испугом отступил перед насквозь промокшим, полуголым человеком, который, пошатнувшись, ухватился за косяк.

— Дик?

— Тише! Он ещё спит?

— Да... Послушай, Дик...

— Заткнись, старый дурень, давай мне виски, живей! — Старик побежал и вернулся — с пустой бутылкой! Дик хотел было выбраться, но сил у него нехватило. Он зашатался и, уцепившись за дверную ручку, сделал знак Старику.

— Там у меня есть кое-что в мешке для Джонни. Сними его. Я не могу.

Старик отвязал мешок и положил его перед измученным Диком.

— Развяжи, да поживее!

Старик развязал верёвку дрожащими руками. В мешке были плохонькие игрушки, дешёвые и довольно грубые, — разумеется, откуда было взяться изяществу! — но ярко раскрашенные и блестящие от фольги. Одна была сломана, другую безвозвратно испортило водой, а на третьей — такая беда! — виднелось зловещее красное пятно.

— Не бог знает что, это верно, — сказал мрачно Дик, — но лучше этих мы не достали... Возьми их, Старик, и положи ему в чулок, да скажи ему... скажи, знаешь ли... Поддержи меня, Старик... — Старик успел подхватить его. —

Скажи ему, — говорил Дик, улыбаясь слабой улыбкой, — что приходил Санта Клаус.

Вот так, весь в грязи, оборванный, взлохмаченный и небритый, раненный в правую руку, Санта Клаус пришёл в Симпсон-Бар и свалился без чувств на первом пороге. А следом за ним явилась рождественская заря и тронула дальние вершины тёплым светом неизречённой любви. Она так нежно смотрела на Симпсон-Бар, что вся гора, словно застигнутая врасплох за добрым делом, покраснела до небес.

---

## МОНТЕ-ФЛЕТСКАЯ ПАСТОРАЛЬ, КАК СТАРИК ПЛАНКЕТ ЕЗДИЛ ДОМОЙ

**В**се мы очень его любили. Даже после того, как он окончательно запутал дела компании «Дружба», мы жалели его, хотя многие из нас сами были пайщиками и оказались в числе потерпевших. Помню, кузнец так разошёлся, что заявил:

— А тех, кто взвалил старику на плечи такую ответственность, надо попросту линчевать!

Но кузнец пайщиком не был, и к его словам отнеслись как к вполне извинительному чудачеству отзывчивой и широкой натуры, чудачеству, на которое, принимая во внимание могучую корпуленцию кузнеца, приходилось смотреть сквозь пальцы. Во всяком случае так это было сказано. Однако, мне думается, все жалели, что несчастье расстроит заветную мечту старика «съездить домой».

На самом деле, он собирался «домой» все эти десять лет. Начал сборы через полгода после своего появления в Монте-Флете. Собирался уехать, как только начнутся первые дожди. Собирался сразу же после дождливого сезона. Собирался, как только кончит рубить лес на Оленьем холме, как только можно будет выгнать скотину на Даус-Флет, как только он от-

кроет золотую жилу на холме Эврика, как только компания «Дружба» выплатит первые дивиденды, как только кончатся выборы, как только он получит ответ от жены. Но годы катились мимо, начинались и кончались весенние дожди, лес на Оленьем холме вырубил дочиста, выгон на Даус-Флете поблёк и высох, холм Эврика расстался со своим золотом и разорил владельца, первые дивиденды компании «Дружба» выплатили из имущества пайщиков, в Монте-Флете были выбраны новые представители власти, ответ жены всё ещё заставлял себя ждать, а старик Планкет всё ещё оставался в посёлке.

Однако справедливость требует сказать, что он сделал несколько совершенно определённых попыток уехать. Пять лет назад старик Планкет распрощался с Монте-Хиллом, обменявшись со всеми горячими рукопожатиями. Но дальше ближайшего городка он так и не двинулся. Там его уговорили променять буланого жеребца, на котором он уехал, на гнедую кобылу, и эта сделка не замедлила открыть пылкому воображению Планкета необъятные, заманчивые просторы будущих спекуляций.

Спустя несколько дней Эбнер Дин получил письмо, в котором старик Планкет сообщал, что едет в Висалию покупать лошадей.

«Я весьма удовлетворён, — писал он в свойственных его письмам высокопарных выражениях, — я весьма удовлетворён тем обстоятельством, что мы наконец-то добрались до истинных богатств Калифорнии. Когда-нибудь весь мир будет взирать на Даус-Флет как на коннозаводческий центр. Ввиду серьёзности предприятия я отложил свой отъезд на месяц». Прошло целых два месяца, прежде чем он вернулся к нам с пустыми карманами. Через полгода старик

Планкет уже скопил денег на поездку в Восточные штаты, и на этот раз он доехал до самого Сан-Франциско.

У меня есть письмо, полученное через два-три дня после его приезда в Сан-Франциско, и я позволю себе привести оттуда несколько строк: «Как вы уже знаете, друг мой, я всегда считал, что искусство игры в покер, которую несправедливо приравнивают к другим картёжным играм, пока что переживает в Калифорнии свой младенческий возраст. Я всегда думал, что можно изобрести совершенную систему, следуя которой, умный человек сумеет извлекать из покера твёрдую прибыль. Пока что я не могу открыть вам эту систему, но я не уеду из города, не доведя её до совершенства». Очевидно, Планкет достиг своей цели; он вернулся в Монте-Флет с двумя долларами и тридцатью пятью центами, — это было всё, что осталось от его капитала после применения усовершенствованной системы.

Съездить домой ему удалось только в 1868 году. Он отправился через весь материк сухим путём, заявив, что этот путь представляет большие возможности для открытия неизведанных богатств страны. Последнее его письмо было получено из Вирджиния-сити.

Старик Планкет находился в отлучке три года. Однажды жарким летним вечером он вылез из уингдэмского дилижанса, убелённый пылью и годами. В том, как он поздоровался со всеми, чувствовалось некоторое смущение, не похожее на его прежнюю откровенную говорливость, что, однако, никто из нас не расценил как признак сколько-нибудь серьёзных перемен в характере старика.

В течение нескольких дней Планкет помалки-

вал о своей поездке и только повторял довольно запальчиво, что он «всегда собирался съездить домой — вот и съездил». Потом он стал разговорчивее, в весьма критических тонах отзывался о нравах и обычаях Нью-Йорка и Бостона, обсуждал изменения в общественной жизни, происшедшие там за время его отсутствия, и, помнится, особенно нападал на то, что ему казалось «распушенностью, которая неизбежно сопутствует высшим ступеням цивилизации». Вскоре он начал смутно намекать на развращённость высших кругов общества Восточных штатов и потом уже окончательно сорвал покрывало, скрывающее неприглядную картину беспутства, охватившего Нью-Йорк, и описывал всё это таким яркими красками, что я до сих под содрогаюсь при одном воспоминании об этих рассказах. Оказалось, что злоупотребление спиртными напитками уже вошло в обычай самых блистательных дам города; безнравственность, которой он даже не осмеливался дать точное название, царила среди изысканнейших представителей обоего пола; скаредность и алчность — самые заурядные пороки богачей.

— Я всегда говорил, — продолжал он, — что разврат гнездится там, где царствует роскошь и властвуют деньги и где капитал идёт на всё что угодно, только не на разработку естественных богатств страны. Благодарю вас, мне, пожалуйста, не разбавляйте!..

Весьма вероятно, что кое-что из этих прискорбных сведений проникло в местную печать. Мне вспоминается передовая статья в газете «Страж Монте-Флета» под заглавием «Восток выдохся!» в которой весьма пространно описывался ужасающий упадок нравов Нью-Йорка и Новой Англии, а Калифорния рекомендовалась как

место, где можно обрести спасение в непосредственной близости к природе. «Может быть, нам следует добавить, — говорил «Страж», — что состоятельных людей, приезжающих с Востока, округ Калаверас должен привлечь своими особо притягательными свойствами».

Потом Планкет заговорил о своей семье. Дочь, которую он оставил ребёнком, выросла красавицей; сын уже перерос отца, и когда они вздумали в шутку померяться силами, «этот мошенник», — притворно ворчливый голос Планкета прерывался от чувства отцовской гордости, — дважды положил своего любящего родителя на обе лопатки. Но больше всего он говорил о дочери. Поощрённый, по всей вероятности, явным интересом, которое мужское население Монте-Флета проявляло к женской красоте, он долго распространялся о различных достоинствах и очаровании дочери и, наконец, на погибель своим слушателям, показал фотографию очень хорошенькой девушки. Описание первой встречи с ней было настолько своеобразно, что я попытаюсь передать его здесь дословно, хотя речь Планкета не отличалась той обдуманностью выражений и тем изяществом слога, которые характеризовали его эпистолярный стиль.

— Понимаете ли, друзья, в чём дело, — я всегда придерживался того мнения, что человек должен узнавать свою кровь и плоть инстинктивно. Десять лет прошло, как я не виделся с моей Мелинди, а она была тогда семилетней крошкой, — вот такая маленькая. И, приехав в Нью-Йорк, как вы думаете, что я сделал? Заявился прямо домой, как в таких случаях полагается, и спросил жену и дочь? Нет, сэр! Я нарядился разносчиком — да, сэр, разносчиком — и позвонил к ним. Слуга открывает дверь, а я — соображае-

те, в чём дело? — предлагаю показать хозяйкам кое-какие наряды. Вдруг слышу сверху с лестницы чей-то голос: «Ничего не нужно, гоните его прочь!» — «Тонкие кружева, мэм, контрабандный товар», — а сам смотрю наверх. А она отвечает: «Убирайся вон, мошенник». Я, братцы, сразу же узнал голос жены; вернее верного, тут и инстинкта не нужно, — и говорю: «Может, барышни себе что-нибудь выберут?» А жена: «Ты разве не слышал, что тебе было сказано?» — и прямо на меня и выскочила. Ну, я тут живо убрался. Ведь вот, друзья, я свою старуху уже десять лет не видал, а стоило только ей наскокить на меня, и я давай бог ноги!

Произнося эту речь, Планкет занимал свою обычную позу у стойки, но при последних словах он повернулся боком к слушателям и окинул их взором, который возымел своё действие. Те, кто проявлял некоторые признаки скептицизма или отсутствия интереса, сразу же сделали вид, что слушают его рассказ с увлечением и любопытством.

— Ну-с, дня два я слонялся вокруг да около и, наконец, узнал, что на следующей неделе рождение Мелинди и гостей будет полон дом. Такой приём закатили, я вам скажу, просто чудо! Цветов — полно, дом весь сияет огнями, слуги так и бегают взад и вперёд, угощение, прохладительные напитки, закуски...

— Дядя Джо!

— Ну?

— А откуда у них такие деньги?

Планкет смерил своего собеседника суровым взглядом.

— Я всегда вам говорил, — медленно ответил он, — что как только соберусь домой, то непременно пошлю наперёд чек на десять тысяч дол-



ларов. Я всегда так говорил. А? Что? Ведь говорил, что поеду домой — и съездил, так ведь? Ну?

Была ли его логика необычайно убедительна, взяло ли верх желание дослушать рассказ до конца, но Планкета больше не перебивали. К нему быстро вернулось хорошее расположение духа, и, посмеиваясь себе под нос, он принялся рассказывать дальше.

— Пошёл я в самый большой ювелирный магазин, купил бриллиантовые серьги, сунул их в карман и отправился домой. Открывает мне дверь молодчик, на вид этакая, понимаете ли, помесь официанта с попом, и спрашивает: «Как прикажете доложить?» Я говорю: «Скисикс». Он меня провёл в гостиную, и через несколько минут wpłyвает туда моя жена. «Простите, — говорит, — я что-то не припомню такой фамилии». Держится вежливо, потому что я нацепил на себя рыжий парик и бакенбарды. «Из Калифорнии, приятель вашего мужа, мэм, привёз подарок вашей дочке, мисс...» — будто забыл, как её зовут. Вдруг раздаётся чей-то голос: «Нас на эту удочку не поймашь!» — и входит моя Мелинди. «Тоже нашёл, как обманывагь, забыл, видите ли, имя родной дочери! Ну, как живёшь, старина?» И с этими словами срывает с меня парик, бакенбарды и кидается мне на шею. Инстинкт, сэр, вот что значит инстинкт!

Поощрённый взрывом смеха, которым было встречено описание дочерних чувств Мелинды, старик Планкет повторил её слова уже с некоторыми добавлениями и, присоединившись к общему веселью, хохотал громче всех, то и дело в течение вечера принимаясь довольно бессвязно рассказывать эту историю с самого начала.

И так в различное время, в различных ме-

стах — а преимущественно в салунах — рассказывал монте-флетский Улисс о своих странствованиях. В этих рассказах встречались кое-какие несообразности, слишком много внимания в них уделялось деталям, иногда претерпевали изменения и персонажи и место действия, раз или два повествование получило совершенно другой конец. Однако тот факт, что Планкет ездил навестить жену и детей, оставался неизменным.

Конечно, среди таких скептиков, как скептики Монте-Флета, — в обществе, привыкшем загораться надеждой, редко осуществлявшейся в действительности, в обществе, где, пользуясь местным выражением, чаще, чем в других приисковых посёлках, «копали золото, а натыкались на обманку», — рассказам старика Планкета не очень-то верили. Исключение составлял только один человек — Генри Йорк из Сэнди-Бара. Он был самым внимательным слушателем Планкета; сплошь и рядом его тощий кошелёк финансировал безрассудные спекуляции старика; ему чаще, чем другим, приходилось выслушивать описание чар Мелинды; он взял у старика её фотографию, и не кто иной, как тот же Йорк, сидя однажды вечером у себя в хижине, до тех пор целовал эту фотографию, пока лицо его, на которое падал свет из очага, не покраснело до корней волос.

Монте-Флет утопал в пыли. Долгий засушливый сезон всюду оставил свои следы; умирающее лето устало землю слоем красного праха по колено глубиной, испуская последнее дыхание, клубившееся красным облаком над потревоженными дорогами. Ольховник и тополя вдоль

реки поседали от пыли; казалось, что корни их, вместо того чтобы уходить в землю, торчат в воздухе; сухие камни, поблёскивавшие в руслах пересохших ручьёв, были похожи на кости, разбросанные по долине смерти. Заходящее в пыли солнце по временам окрашивало склоны гор тусклым медным светом; бывали дни, когда над вулканами далёкого побережья появлялось злое, неровное сияние; из горевшего на холме леса снова потянуло едким смолистым дымом, от которого у жителей Монте-Флета слезились глаза и перехватывало дыхание; свирепый ветер, гнавший перед собой всё, что попадалось ему на пути, — в том числе и увядшее, как опавший лист, лето, — бушевал вдоль склонов Сиерры, заставлял людей прятаться по хижинам и грозил им в окна посиневшим кулаком.

В такие вечера — ведь пыль до некоторой степени тормозила движение колесницы прогресса в Монте-Флете — большинство обитателей посёлка волей-неволей собиралось в сверкающем позолотой баре «Мокелумне-Отеля», поплёвывало на раскалённую печь и ждало, когда начнутся дожди.

В ожидании этого явления природы все известные в Монте-Флете способы скоротать время были испробованы.

Откровенно говоря, способы эти не отличались разнообразием и сводились, главным образом, к общедоступным шуткам, именующимся «разыгрыванием»; но даже и эта забава приняла форму солидного делового занятия. Томми Рой, убивший целых два часа на то, чтобы вырыть около своей двери яму, куда за вечер случайно попало несколько его приятелей, сидел с разочарованным, скучающим видом; четверо видных граждан, которые, переодевшись грабителями, оста-

новили на дороге в Уингдэм окружного казначея, уже на следующее утро потеряли вкус к своей проделке; единственный врач в Монте-Флете и адвокат, участвовавшие в коварном заговоре против калаверасского шерифа и его помощника, которых заставили написать приказ о высылке из здешних мест медведя-гризли, причём медведь этот был представлен шерифу под псевдонимом майора Урсуса<sup>1</sup>, якобы затаившегося в лесах Хэвитри-Хилла, — эти врач и адвокат ходили с видом усталым и отрешённым от всего земного. Даже редактор монте-флетского «Стража», написавший в то утро для развлечения подписчиков из Восточных штатов блистательный отчёт о битве с индейским племенем Уипнэк, — даже он казался сумрачным и истомлённым. Когда Эбнер Дин, только что вернувшийся из Сан-Франциско, вошёл в бар, ему задали, как это было в ходу, совершенно невинные на первый взгляд вопросы; он ответил и, не подозревая ловушки, был втянут в беседу, навлекшую позор и унижение на его голову, но тем дело и кончилось. Никого это, впрочем, не развеселило, а Эбнер, хотя он и оказался потерпевшим, сумел сохранить хорошее расположение духа. Повернувшись с невозмутимым видом к своим мучителям, он сказал:

— У меня найдётся кое-что посмешнее; старика Планкета все знают?

Присутствующие, как по команде, разом плюнули на печку и утвердительно кивнули.

— Вы знаете, что он ездил домой три года назад?

Двое-трое сняли ноги со спинок стульев, а кто-то ответил:

---

<sup>1</sup> *Ursus* — медведь (лат.).

— Да.

— Хорошо погостил там?

Все неуверенно покосились на того, кто сказал «да», а он, вынужденный принять на себя ответственность, робко улыбнулся, сказал «да» ещё раз и тяжело перевёл дыхание.

— Повидался с женой и дочкой, — она у него красавица? — спросил Эбнер Дин.

— Да, — упрямо ответил тот.

— Может быть, вы и фотографию её видели? — спокойно продолжал Эбнер Дин.

Упрямец с беспомощным видом оглянулся по сторонам, ища поддержки. Двое-трое соседей, только что поощрявшие его взглядом, в котором сквозил интерес, теперь отступились без зазрения совести и стали смотреть в другую сторону. Генри Йорк слегка покраснел и потупил свои карие глаза. Человек, говоривший «да», замялся, а потом с деланной улыбкой, которая должна была показать всем, что ему отлично известна цель этого допроса и он только шутит, будучи в прекрасном настроении, снова сказал «да».

— Послал домой — дайте-ка вспомнить — десять тысяч долларов, — так ведь, кажется? — продолжал Эбнер Дин.

— Да, — упорствовал тот с прежней улыбкой.

— Ну, так оно и есть, — спокойно сказал Эбнер. — Дело в том, что он и не думал ездить домой, и духу его там не было.

Все устали на Эбнера с неподдельным удивлением и любопытством, в то время как он нарочито спокойно и лениво продолжал свой рассказ.

— Видите ли, в чём дело, я повстречал во Фриско одного человека, который все эти три года виделся с ним в Соноре. Старик Планкет разводил там то ли овец, то ли рогатый скот, то ли спекулировал, причём без единого цента в

кармане. А отсюда следует, что этот ваш Планкет с сорок девятого года ни шагу не сделал на восток от Скалистых гор.

Взрыв смеха, на который Эбнер Дин был в праве рассчитывать, действительно раздался, но в смехе этом слышались горькие сардонические нотки. Мне кажется, что слушателями овладело негодование. Впервые они почувствовали, что надо знать меру и в шутках. Надувательство, которое тянулось целый год, компрометируя прозорливость обитателей Монте-Флета, заслуживало сурового наказания. Планкету, конечно, никто не верил, но мысль о том, что в соседних посёлках могли поверить, что они поверили ему, наполняло их сердца горечью и злобой. Адвокат задумался над тем, нельзя ли притянуть Планкета к суду за вымогательство; врач, оказывается, давно уже замечал у старика признаки затемнения рассудка и поговаривал, что не мешало бы посадить Планкета в сумасшедший дом. Четверо видных коммерсантов считали, что в интересах местной торговли следует принять по отношению к старику решительные меры. В самый разгар оживлённых и сердитых обсуждений дверь медленно открылась, и в комнату, пошатываясь, вошёл старик Планкет.

За последние шесть месяцев он сильно изменился. Его волосы приобрели какой-то желтовато-пыльный оттенок, точно трава на склонах Хэвитри-Хилла, лицо покрывала восковая бледность, под глазами появились лиловые мешки; одежда на нём была грязная и потрёпанная; спереди куртка носила следы завтраков, наскоро поедаемых прямо у стойки, сзади была покрыта пухом и волосами, свидетельствуя о многих ночах, проведённых на кое-как устроенном ложе. Подчиняясь странному закону, который гласит,

что, чем грязнее и неопрятнее у человека одежда, тем труднее ему расстаться с ней даже на ту часть суток, когда она меньше всего бывает нужна, одежда старика Планкета постепенно стала похожа на какую-то кору или нарост, ответственность за существование которых нельзя было взваливать полностью на плечи их обладателя.

Тем не менее, войдя в комнату, он всё-таки попытался застегнуть пиджак, чтобы прикрыть грязную рубашку, провёл рукой по бороде с застрявшими в ней крошками, словно отдавая дань существующим требованиям чистоты и порядка, — в этом жесте было что-то напоминавшее движение животного. Потом слабая улыбка исчезла с его губ, рука, машинально теребившая пуговицу, беспомощно опустилась. Прислонившись спиной к стойке и оглядев комнату, он сразу же заметил, что глаза всех присутствующих, за исключением одной пары глаз, были устремлены на него. Обострённая подозрительность сразу же подсказала Планкету, что здесь произошло. Его злосчастная тайна стала достоянием всех, она словно носилась в воздухе. Хватаясь за последнюю соломинку, старик с отчаянием взглянул на Генри Йорка, но тот сидел весь красный и смотрел в окно.

Все молчали. Когда бармен, не говоря ни слова, поставил перед ним графин и стакан, Планкет взял с тарелки сухарь и принялся грызть его с подчёркнуто равнодушным видом. Он медленно потягивал виски, пока алкоголь не придал ему сил и не притупил его обострённую подозрительность; потом вдруг повернулся лицом к присутствующим.

— Что-то мне кажется, не видать нам дождей до самого рождества, — сказал он с вызывающей развязностью.

Все молчали.

— Такая же зима была в пятьдесят втором году, потом в шестидесятом. Я всегда замечал, что засуха приходит через определённые промежутки времени. Я и раньше это говорил и сейчас скажу. Всё равно, как про поездку домой, — добавил он с отчаянной отвагой.

— А вот один человек уверяет, что ты и не ездил домой, — лениво сказал Эбнер Дин. — Все три года, говорит, просидел в Соноре. С женой и с дочерью, говорит, не виделся с сорок девятого года. Шесть месяцев, говорит, дурачил весь посёлок. Вот что говорит этот человек.

Наступила мёртвая тишина. Потом чей-то голос так же спокойно сказал:

— Этот человек лжёт.

Голос был чей-то другой — не старика. Все повернулись к Генри Йорку, который медленно встал с места, выпрямился во весь свой шести-футовый рост, смахнул с груди пепел, насыпавшийся из трубки, и, подойдя к Планкету, повернулся лицом к остальным.

— Этого человека здесь нет, — продолжал Эбнер Дин, не обращая ни малейшего внимания на реплику и мягким, небрежным движением кладя руку на пояс, где у него висел револьвер. — Этого человека здесь нет, но если требуется подтвердить его слова, что же, я готов.

Все встали со своих мест, когда двое мужчин, внешне самые спокойные в комнате, двинулись друг к другу. Адвокат стал между ними.

— Здесь, должно быть, какое-то недоразумение. Йорк, ты наверное знаешь, что старик ездил домой?

— Да.

— А откуда ты это знаешь?



Йорк устремил на своего собеседника ясные, правдивые, смелые глаза и, не сморгнув, единственный раз за всю свою жизнь сказал абсолютную ложь:

— Я сам его там видел.

Ответ был исчерпывающий. Все знали, что в те годы, когда старика не было в Монте-Флете, Йорк ездил на Восток. Этот разговор отвлек внимание присутствующих от Планкета, который, побледнев и еле переводя дыхание, смотрел на своего неожиданного спасителя. Когда он снова повернулся к остальным, в его взгляде было что-то такое, от чего ближайшие его соседи подались назад и даже самые отчаянные смельчаки и сорви-головы почувствовали смутное волнение. Планкет шагнул вперед, — врач почти бессознательно сделал предостерегающий жест рукой, — и, не сводя глаз с раскалённой докрасна печки, не переставая как-то странно улыбаться, заговорил:

— Да, да, конечно, видел. А кто говорит, что не видел? Это сушая правда; я же говорил, что поеду домой — вот и поехал. Разве не так? Ей-богу, я ездил! Кто говорит, что я вру? Кто говорит, что мне это приснилось? Ну, что же ты молчишь? Ведь это сушая правда. Ты говоришь, что видел меня, так повтори это ещё раз! Ну, говори! Говори! Ведь это правда? Опять, опять начинается! О, господи — опять! Помогите! — и с пронзительным воплем он упал ничком на пол и забился в припадке.

Придя в себя, старик увидел, что он находится в хижине Йорка. Мерцающий огонь горевших сосновых веток освещал неструганные балки, падал на фотографию в искусном обрамлении из еловых шишек, висевшую над связкой хвороста, на которой он лежал. На фотографии

была изображена молоденькая девушка. На ней первой остановился взгляд старика; щёки его залило краской смущения, он вздрогнул и быстро оглянулся по сторонам. Но глаза его встретились только с глазами Йорка — ясными, карими, недоверчивыми, терпеливыми, — и он снова потупился.

— Скажи, старик, — заговорил Йорк вовсе не сурово, но с тем же холодком, который мгновением раньше проскользнул и в его взгляде, — скажи, это ложь? — И он показал на портрет.

Старик закрыл глаза и ничего не ответил. Два часа назад подобный вопрос исторг бы из него какую-нибудь уловку или похвальбу. Но сейчас разоблачение, слышавшееся в вопросе, и самый тон Йорка успокоили Планкета. Даже его затуманенному мозгу стало ясно, что, поддерживая его в салуне, Йорк лгал, — теперь он знал наверняка, что не ездил домой и что не лишился ещё рассудка, как это ему представилось вначале. Всё это принесло с собой такое облегчение, что к старику вернулось его обычное легкомыслие и сумасбродство. Он усмехнулся и, наконец, захохотал во всё горло.

Не сводя глаз со старика, Йорк отнял руку, лежавшую на руке Планкета.

— А здорово мы их провели, Йорк, а? Хе-хе! Таких шуток в нашем посёлке ещё никто не разыгрывал! Я всегда говорил, что надо их когда-нибудь одурачить — вот и дурачил целые полгода. Скажешь, плохо получилось? Ты смотрел на Эбнера, когда он рассказывал про того человека, который видел меня в Соноре? Ну и потеха! Ох, сил моих нет! — И, хлопнув себя по ляжке, он так оглушительно захохотал, что чуть не свалился со своего ложа, но смех его был наполовину притворный.

— Это её фотография? — тихо спросил Йорк после небольшой паузы.

— Её? Да нет! Это одна певичка из Сан-Франциско, хе-хе! Я купил этот портрет в книжной лавке за четверть доллара. Мне и в голову не приходило, что они пойдут на эту удочку, а ведь пошли! Ну и одурачил их старик на этот раз, здорово одурачил, а? — И он с любопытством вглядывался в лицо Йорка.

— Да, меня он тоже одурачил, — сказал Йорк, глядя старику прямо в глаза.

— Да, да, конечно, — торопливо перебил его Планкет, — но ты, Йорк, прекрасно вышел из положения. Да ещё других обставил. Мы с тобой подцепили их на удочку — ты да я, — нам теперь надо держаться друг за дружку. Ты молодец, Йорк, молодец. Когда ты сказал, что мы с тобой встречались в Нью-Йорке — вот провалиться мне на этом месте, я и на самом деле...

— Что «на самом деле»? — тихо спросил Йорк, так как старик запнулся, побледнел и блуждающим взглядом обвёл комнату.

— А?

— Ты говоришь: когда услышал, что мы виделись в Нью-Йорке, то подумал...

— Ложь! — злобно крикнул старик. — Я ничего такого не говорил. Ты что, поймать меня хочешь? А? — Руки у него дрожали. Бормоча себе под нос, он встал со своего ложа и подошёл к очагу.

— Дай виски, — сказал он через минуту, — и хватит болтать. Как-никак, а придётся тебе меня угостить. И тем тоже не мешало бы. Я бы им показал, только вот скрутило меня.

Йорк поставил перед ним бутылку виски и оловянную кружку, подошёл к двери и, повернувшись к своему гостю спиной, стал смотреть

на улицу. Ночь была лунная, и всё же знакомые места никогда ещё не казались Йорку такими унылыми. Мёртвая, уходящая в даль широкая дорога на Уингдэм никогда ещё не казалась ему такой однообразной: она была так похожа на прожитую им жизнь, на те дни, которые ему ещё предстоит прожить, так похожа на жизнь старика, который тоже вечно куда-то стремился и не видел своей цели. Он повернулся, подошёл к Планкету и, положив ему руку на плечо, сказал:

— Ответь мне на один вопрос, только по-честному, без утайки.

Виски, должно быть, согрело вялую кровь старика и умерило его резкость, потому что лицо, смотревшее сейчас на Йорка, смягчилось и стало более серьёзным.

— Спрашивай, дружище!

— Есть у тебя жена и... дочь?

— Есть, как перед богом!

Некоторое время оба молчали и смотрели в огонь. Потом Планкет стал медленно потирать руками колени.

— Если уж говорить начистоту, то жена у меня не бог весть какая, — начал он осторожно, — малость грубовата и нехватает ей, так сказать, калифорнийской широты взглядов, а всё это вместе взятое — комбинация неважная. Я придерживаюсь того мнения, что хуже ничего не придумаешь. Язык у неё всегда наготове, как револьвер у Эбнера Дина, с той только разницей, что она, по её собственному выражению, бранится из принципа, значит, попросту говоря, всегда держит тебя на прицеле. Да, да, дружище, Восток выдохся, он и губит её, — набралась в Нью-Йорке и Бостоне разных идей, вот и довела и себя и меня бог знает до чего. Во-

зись со своими идеями, но браниться-то зачем? С такими наклонностями надо бы держаться подальше от принципов, всё равно как от огнестрельного оружия.

— А дочь? — спросил Йорк.

Старик закрыл глаза руками и повалился головой на стол.

— Не говори о ней, не спрашивай меня сейчас!

Прикрывая одной рукой лицо, другой он шарил в карманах в поисках платка, но тщетно. Может быть, вследствие этого старик Планкет подавил слезы, потому что, когда он отнял руку, глаза у него были совершенно сухие. Тут он обрёл дар слова.

— Она у меня красавица, просто красавица, а если не веришь мне, друг, так ты сам её увидишь, обязательно увидишь. Теперь у меня всё налажено. Дня через два я усовершенствую свой метод обогащения руды; здешние плавильные заводы засыпали меня предложениями. — Второпях он вытащил из кармана связку бумаг и уронил их на пол. — Я хочу выписать сюда семью. Вот эти бумажки принесут мне тысяч десять долларов в ближайший же месяц, — добавил он, подбирая с пола драгоценные бумаги. — Я не я буду, а к рождеству они приедут сюда, и ты будешь обедать с нами на праздник, Йорк, вот помяни мое слово, дружище.

Виски и заманчивые грандиозные планы развязали старику язык. Он продолжал бессвязно бормотать, расширяя и сопровождая подробностями свой проект, и по временам даже говорил о нём как о завершённом предприятии. Наконец высоко в небе появилась красная луна, и Йорк снова уложил его. Несколько минут он лежал, бормоча что-то себе под нос, потом за-

былся тяжёлым сном. Когда Йорк увидел, что старик спит, он осторожно снял со стены портрет в рамке из шишек, подошёл к очагу, бросил всё это на тлеющие угли и сел рядом, глядя в огонь.

Еловые шишки мгновенно вспыхнули; вслед за ними загорелось и изображение той, которая каждый вечер очаровывала театральную публику Сан-Франциско, — загорелось и исчезло; замерла и саркастическая улыбка на губах Йорка. А потом кучка углей вдруг рассыпалась, и внезапная вспышка осветила сложенный вдвое лист бумаги, валявшийся на полу. Это была одна из бумажек, выпавших у старика из кармана. Когда Йорк машинально поднял её, из середины выскользнула фотография — портрет молоденькой девушки. На обороте его нетвёрдым почерком было написано: «Папе от Мелинды».

Фотография была дешёвенькая, но, боже мой! Боюсь, что даже изощрённая лесть самого высокого искусства не могла бы приукрасить застывшую угловатость лица девушки, её вульгарное самодовольство, дешёвый наряд, лишённые мысли невзрачные черты. Йорк не стал смотреть на неё дважды. Он взялся за письмо, думая найти утешение хотя бы в нём.

Письмо пестрело ошибками, знаки препинания в нём отсутствовали, почерк был неразборчивый, тон письма раздражительный, эгоистичный. Боюсь, что даже несчастья его автора были лишены оригинальности. Неприкрашенная повесть о нищете, сомнениях, мелких уловках, компромиссах, убогих горестях, ещё более убогих желаниях, о несчастье, которое унижает человека, о печали, которая вызывает к себе только жалость. И всё же сквозившая в письме потребность в близости этого недостойного человека, кото-

рому оно было адресовано, казалась искренней — это была привязанность, и в основе её лежало скорее инстинкт, чем осознанное чувство.

Йорк бережно сложил письмо и сунул его старику под подушку. Потом снова сел к очагу. Улыбка, от которой резче проступили складки в углах его рта, прикрытого усами, постепенно перебралась в ясные карие глаза, потом потухла. В глазах она задержалась дольше всего, и — для тех, кто мало знает Йорка, это покажется странным — оставила после себя слезу.

Он долго сидел у очага, сгорбившись, опустив голову на руки. Ветер, воевавший с парусиновой крышей, вдруг приподнял её с одного конца, в комнату скользнула полоска света в сверкающим лезвием легла на плечо Йорка. И, возведённый в рыцарское достоинство этим прикосновением, скромный Генри Йорк встал — бодрый, воодушевлённый высокой целью и уверенный в своих силах.

Наконец пришли дожди. Склоны гор позеленели, а уходившая вдаль белая дорога на Уингдэм терялась среди луж, насколько хватал глаз. Русла пересохших ручьёв, тянувшиеся по равнине, точно белые кости скелета какой-то допотопной ящерицы, снова наполнились водой; вода зажурчала по долине, принося с собой радость старателям и порождая вполне простибельные экстравагантности на страницах монтефлетского «Стража».

«Впервые в истории нашего округа мы добились такой крупной выработки. Наш почтенный собрат из «Хилсайдского маяка», в шутку заявивший о том факте (?), что достойнейшие граждане Монте-Флета покидают затопленный город в «утлых челнах», будет рад услышать следующую новость: уважаемый всеми нами

наш согражданин, Генри Йорк, уехавший сейчас на Восток навестить родных, вывез на этом самом «утлом челне» скромную сумму в пятьдесят тысяч долларов, полученную за золото, намытое им в течение одной недели. Мы склонны думать, — продолжала эта жизнерадостная газета, — что у Хилсайда нет оснований опасаться подобных бедствий в наступающем сезоне. И всё же нам кажется, что «Маяк» ратует за постройку железной дороги.

Некоторые газеты ударились в поэзию. Телеграфист из Симпсона передал в сакраментскую «Вселенную» следующую телеграмму: «Весь день с утра и до поздней ночи отягощённые облака изливали на землю свою влагу». Одна газета в Сан-Франциско разразилась стихами, подав их в виде передовой статьи: «Ликуйте! Лёгкий дождь шумит и скачет по холмам, и в каждой капле дождевой он радость шлёт лугам. Ликуйте!» и так далее.

И в самом деле, дождь принёс радость всем, только не Планкету. Каким-то совершенно непонятым, таинственным образом дождь помешал усовершенствованию нового метода обогащения руды и отдалил рождение этого новшества ещё на целый год. Неудача снова привела Планкета на его обычное место в салуне, где он и проводил время, повествуя равнодушной аудитории о Востоке и о своей семье.

Никто не перебивал его. Ходили слухи, что неизвестное лицо или лица внесли хозяину салуна некоторую сумму денег на удовлетворение скромных потребностей старика. К его мании — так снисходительно истолковывали в Монте-Флете сумасбродство Планкета — относились настолько терпимо, что даже принимали его приглашение отобедать с ним в семейном кругу на



первый день рождества. Старик удостаивал своим приглашением всех, с кем ему приходилось выпивать или беседовать. Но однажды, ко всеобщему удивлению, он вбежал в салун, держа в руках распечатанный конверт. Письмо гласило следующее:

«Приготовьтесь принять семью в первый день рождества в новом коттедже. Приглашайте всех, кого только захотите.

*Генри Йорк».*

Письмо перешло из рук в руки в абсолютном молчании. Старик обводил всех взглядом, в котором сквозили то надежда, то страх. После паузы врач многозначительно оглядел присутствующих. — Явное надувательство, — тихо сказал он, — хитро придумано! Они на это мастера; только старик не выдержит характера. Наблюдайте за ним.

— Слушай, старик, — сказал он громко и внушительно, — это же обман, надувательство, и ты это отлично знаешь. Ну-ка, признавайся, да смотри мне прямо в глаза. Обман? — Планкет с минуту смотрел на него в упор и, наконец, опустил глаза. Потом сказал, бессильно улыбувшись:

— Где мне с вами тягаться, друзья! Доктор верно говорит. Игра проиграна. Можете теперь со старика подковы содрать. — Пошатываясь, дрожа, слабо посмеиваясь, он сел на своё обычное место и погрузился в молчание. Но уже на следующий день старик, повидимому, забыл о случившемся и попрежнему продолжал болтать о предстоящем торжестве.

Пробежали дни, недели, наступил первый день рождества — яркий, солнечный день, согретый южным ветром, весёлый от пробивающейся всюду молодой травы. И вот в салуне вдруг

поднялась суматоха. Эбнер Дин подошёл к дремавшему на стуле Планкету и принялся тормошить его.

— Проснись, старик, Йорк приехал, жена и дочью поджидают тебя в коттедже на Хэвитри! Пойдём, старина! Ну-ка, друзья, помогите ему встать! — И через какую-нибудь секунду несколько пар сильных рук с готовностью подняли старика, торжественно пронесли по улице вверх по крутому склону горы и опустили его, вырывающегося, оторопелого, у порога маленького коттеджа. В ту же самую минуту навстречу ему кинулись две женщины, но их остановил Генри Йорк.

Старик пытался встать на ноги. Сделав последнее усилие, он выпрямился, дрожа всем телом и глядя прямо перед собой остекляевшими глазами; щёки его посерели, голос прозвучал глухо:

— Всё это обман, ложь! Они не родные мне, они чужие! Это не моя жена, не моя дочь. Моя дочь — красавица, красавица, слышите вы? Она в Нью-Йорке у матери, я ещё привезу её сюда. Я говорил, что поеду домой, и я ездил домой — слышите? Я ездил домой! Стыдно издеваться над стариком! Пустите меня, слышите! Уберите отсюда этих женщин. Пустите меня! Я поеду домой, поеду домой!

Он судорожно взмахнул руками, рванулся в сторону, упал боком на ступеньки и скатился на землю. Все кинулись поднимать его, но было уже поздно: старик Планкет отправился домой.

## НАСЛЕДНИЦА

**П**ервые признаки эксцентричности появились у завещателя, если не ошибаюсь, весной 1854 года. В ту пору он был обладателем солидного имения (заложенного и перезаложенного одному другу) и довольно миловидной жены, на привязанность которой не без некоторых оснований притязал второй его друг. В один прекрасный день выяснилось, что завещатель втихомолку вырыл, или велел вырыть, перед своей парадной дверью глубокую яму, куда за один вечер ненароком свалилось несколько его друзей. Упомянутый случай, сам по себе незначительный, указывал на юмористический склад ума этого джентльмена, что могло бы при известных обстоятельствах пойти ему на пользу в литературных занятиях, хотя любовник его жены, человек весьма проникательный, к тому же сломавший ногу при падении в яму, придерживался на этот счёт иных взглядов.

Спустя несколько недель, обедая в обществе знакомых жены, завещатель встал из-за стола, предварительно извинившись, и через две-три минуты преспокойно появился под окном, держа в руках насос, из которого и окатил водой собравшуюся компанию. Кое-кто пытался пре-

дать это дело гласности, но большинство граждан Рыжей Собаки, не приглашённых к обеду, заявили, что всякий волен увеселять своих гостей, как ему вздумается. Тем не менее начали поговаривать, а не повредился ли этот джентльмен в рассудке. Жена вспомнила несколько других его выходов, явно свидетельствовавших об умопомешательстве; искалеченный любовник утверждал на основании личного опыта, что избежать членовредительства она сможет, только покинув дом своего супруга; а владелец закладной, опасаясь за свою собственность, принял соответствующие меры. Но тут персона, вызывавшая столько тревог, повернула дело по своему и исчезла.

Когда мы опять услышали о нём, оказалось, что он каким-то загадочным образом уже успел избавиться и от жены и от имущества, жил один в Роквилле, в пятидесяти милях отсюда, и редактировал газету. Однако оригинальность, проявленная им при разрешении вопросов частной жизни, будучи применённой к вопросам политики, тактовавшимся на страницах «Роквиллского авангарда», почему-то не имела никакого успеха. Забавный гротеск, представленный в качестве подлинного описания того, как кандидат противной партии убил китайца-прачку, вызвал потасовку и оскорбление действием. Явившийся чистейшим плодом фантазии отчёт о религиозном подъёме в округе Калаверас, возглавляемом якобы шерифом, известным скептиком и богохульником, привёл к тому, что официальные сообщения перестали появляться на страницах газеты.

В самый разгар всех этих неурядиц он скоропостижно скончался. Вскоре же выяснился ещё один факт, послуживший прямым доказатель-

ством его сумасбродства: он оставил завещание, передав весь свой капитал веснущатой служанке из гостиницы «Роквилл». Но сумасбродство его обернулось серьёзной стороной, так как скоро стало известно, что в числе прочих бумаг в наследство входила и тысяча акций рудников «Восходящего Солнца», неслыханно подскочивших в цене дня через два после кончины завещателя, когда все ещё хохотали над его нелепым благодеянием.

По приблизительным подсчётам, капитал, которым его обладатель распорядился с таким легкомыслием, равнялся теперь трём миллионам долларов! Воздавая должное предприимчивости и энергии нашего молодого процветающего посёлка, следует сказать, что среди граждан его, вероятно, не нашлось бы ни одного человека, который не считал бы себя в силах дать лучшее применение имуществу покойного шутника. Некоторые мучились сомнениями, могут ли они прокормить семью; другие, будучи выбранными в присяжные и, вероятно, слишком глубоко чувствуя связанную с этим ответственность, уклонялись от исполнения гражданского долга; третьи избегали служить за маленькое жалованье; но ни одна душа не отказалась бы заступиться место Пегги Моффет, наследницы этого человека.

Завещание стали оспаривать. Первой выступила на сцену вдова, не получившая, оказывается, от покойника официального развода; потом четвёрка двоюродных братьев, которые, правда, с некоторым опозданием, оценили моральные и материальные достоинства своего родственника. Однако скромная наследница — невзрачная, простоватая, необразованная девушка — проявила крайнее упорство, отстаивая свои права.

Она отказалась пойти на какие-либо уступки. Примитивное чувство справедливости, которое имелось у её сограждан, сомневавшихся в том, что эта девушка сможет управиться с таким состоянием, подсказывало им, что она должна удовлетворяться тремястами тысячами долларов.

— Всё равно и эти деньги выбросит на како-го-нибудь прощальгу, но дарить такому три миллиона за то, что он сделает её несчастной, пожалуй, многовато. Это значит вводить в соблазн мошенников.

Единственный протест против такого рода умозаключений сорвался с насмешливых губ мистера Джека Гемлина.

— А предположим, — сказал этот джентльмен, круто поворачиваясь к оратору, — предположим, что в пятницу вечером, вместо того чтобы вручить вам выигранные у меня двадцать тысяч долларов, как это и было сделано, я бы заартачился и заявил: «Слушайте, Билл Уэзерсби, вы круглый идиот. Если я отдам вам эти двадцать тысяч, вы спустите их во Фриско в первом же притоне и осчастливите первого встречного шулера. Вот вам тысяча, — хватит на мотовство, — берите и проваливайте ко всем чертям!» Предположим, что в моих словах была бы святая правда и вы бы прекрасно это знали, — честно я поступил бы по отношению к вам или нет?

Но Уэзерсби тут же указал на неуместность сравнения, заявив, что он выиграл деньги честно, *он шёл на риск*.

— А откуда вы знаете, — свирепо спросил Гемлин, устремив свои чёрные глаза на оторопевшего казуиста, — откуда вы знаете, что эта девушка не шла на риск?

Тот пробормотал в ответ что-то нечленораз-

дельное. Игрок положил Уэзерсби на плечо свою холеную руку.

— Знаете что, дружище? — сказал он. — Какую бы игру девушка ни вела, она ставит на карту всё и рискует всем, что у неё есть, можете быть уверены в этом. Вооружись она картами, а не чувствами, пусти в оборот фишки, а не тело и душу, — между Рыжей Собакой и Фриско не уцелело бы ни одного банка! Понимаете, что вам говорят?

Кое-что из этих высказываний — боюсь, впрочем, что в менее сентиментальной форме, — дошло и до самой Пегги Моффет. Лучший законник Сан-Франциско, которого удалось получить вдове и родственникам, воспользовался свиданием с Пегги и дал ей понять, что её рассматривают как преступницу, неблаговидными путями снискавшую милость пожилого, выжившего из ума джентльмена, чтобы завладеть его состоянием; если она доведёт дело до суда, её репутация сильно пострадает. Рассказывают, будто, услышав это, Пегги бросила мыть тарелку и, теребя в руках полотенце, устремила на адвоката свои крохотные голубые глазки.

— Так вот, значит, что про меня люди болтают?

— Увы, милая барышня, — ответил адвокат, — должен вам сказать, что свет весьма суров. Не могу не добавить также, — продолжал он с подкупающей откровенностью, — что, поскольку мы, адвокаты, обязаны прислушиваться к мнению света, таковая же позиция будет занята и нами.

— Ну что ж, — твёрдо сказала Пегги, — раз уж в суде придётся защищать свою честь, прихвачу заодно и три миллиона.

Если верить слухам, то в конце своей речи

Пегги выразила желание «задать хорошую встрёпку» клеветникам и добавила, что она шуток не любит. Беседа кончилась гибелью тарелки, серьёзно повредившей чело законника. Но эта версия, весьма популярная в салунах и на присках, не получила подтверждения в высших кругах общества. Более достоверным считался рассказ о свидании Пегги с её собственным адвокатом. Этот джентльмен указал, насколько выгодным было бы для неё поведать суду истинную причину необъяснимой щедрости завещателя.

— Хотя, — продолжал он, — закон и не оспаривает завещания на основе тех поводов или причин, по которым оно было составлено, всё же нам придётся приложить немало усилий, чтобы доказать судье и присяжным логичность и естественность этого поступка, особенно если будет выдвигаться версия о помешательстве. Вы, мисс Моффет, — это, конечно, между нами, — наверное знаете, почему покойный мистер Бай-уэйс проявил такую необъяснимую щедрость по отношению к вам?

— Нет, не знаю, — решительно сказала Пег.

— Ну, подумайте хорошенько. Не выражал ли он, — вы, конечно, понимаете, что всё останется между нами, хотя я, право, не вижу, почему бы не сказать об этом во всеуслышание, — не выражал ли он каких-либо чувств, которые можно было бы как-то связать с имеющими наступить супружескими отношениями?

Но тут Пегги, большой рот которой всё это время медленно открывался, обнажая неровные зубы, перебила его:

— Вы думаете, он собирался жениться на мне? Нет!



— Так, понимаю. Но, может быть, он ставил какие-нибудь условия, — разумеется, закон принимает во внимание только то, что выражено в духовной; но всё же, исключительно ради подтверждения ваших прав на наследство, не помните ли вы, на каких условиях он оставил его вам?

— Вы думаете, он требовал от меня чего-нибудь взамен?

— Вот именно, уважаемая.

Одна щека Пегги стала малиновой, другая ярко-красной, нос полиловел, а лоб залился багровой краской. Вдобавок к этой неизящной, но драматической демонстрации крайнего смущения она принялась вытирать руки о платье и замолчала.

— Понимаю, понимаю! — заторопился адвокат. — Что бы там ни было, но условие вы исполнили?

— Нет, — удивлённо сказала Пег, — как же я могла это сделать до его смерти?

Тут уж адвокату пришлось краснеть и теряться.

— Да, верно, он сказал мне кое-что и поставил одно условие, — продолжала Пег твёрдым голосом, невзирая на всё своё замешательство, — только это никого не касается, кроме нас с ним. Вам это незачем знать, да и другим тоже.

— Но, уважаемая мисс Моффет, если эти условия помогут нам доказать, что он был в здравом уме, вы же не станете умалчивать о них, хотя бы для того, чтобы получить возможность их выполнить.

— А вдруг они покажутся вам и суду неосновательными? — хитро сказала Пег. — Вдруг вы найдёте их странными? Тогда что?

В таком беспомощном состоянии, связанная

по рукам и ногам, защита была вынуждена выступить и на суде. Все помнят этот процесс. Разве можно забыть, как в течение шести недель он был насущной пищей для всего округа Калаверас; как в течение шести недель умственная, моральная и духовная правоспособность мистера Джеймса Байуэйса обсуждалась учёными и чопорными невеждами в зале суда и неискушенными в науках простаками в салунах и у костров.

К концу этого срока, когда путём логических умозаключений удалось выяснить, что по крайней мере девять десятых жителей округа Калаверас страдают тихим помешательством, а остальные того и гляди тоже повредятся в рассудке, совершенно изнемогшие присяжные не смогли устоять перед появившейся в один прекрасный день в зале суда Пег.

Эта девушка никогда не отличалась внушительным видом, но волнение и неуклюжая попытка принарядиться так подчеркнули все её недостатки, что эффект получился почти сверхъестественный. Каждая веснушка на лице Пегги выделялась и говорила сама за себя; бесцветные глаза, по которым никак нельзя было судить о силе её характера, нерешительно блуждали или с бессмысленным видом останавливались на судье; непомерно большая голова с жидкой светлой косичкой, падавшей на её узкие плечи, казалась такой же твёрдой и непривлекательной, как деревянные шары на решётке за её спиной. Присяжные, которым истцы в течение шести недель описывали её как пронырливую, искусную оболстительницу, сумевшую воспользоваться помешательством Джеймса Байуэйса, возмутились все до одного. Невзрачность этой девушки была до такой степени бесхитро-

стна и так бросалась в глаза, что даже тремя миллионами нельзя было искупить её.

— Если уж она получила такие деньги, значит, было за что, друзья, поблажки здесь быть не могло, — сказал старшина присяжных.

Когда суд удалился на совещание, все почувствовали, что Пегги спасла свою репутацию. Когда же присяжные вернулись в залу огласить приговор, выяснилось, что она получает три миллиона в виде вознаграждения за опороченное доброе имя.

Пегги получила наследство. Но тем, кто втайне надеялся, что она начнёт швырять деньгами направо и налево, пришлось испытать разочарование. Вскоре же прошёл слух, что Пегги до крайности скупа. Миссис Стайвер из Рыжей Собаки, прекраснейшая женщина, ездившая с Пегги в Сан-Франциско помочь ей сделать кое-какие закупки, была вне себя от негодования.

— Она трясётся над пятьюдесятью центами больше, чем я над пятью долларами. В «Париже» ничего не захотела покупать, потому что там, видите ли, всё «слишком дорого», и, наконец, вырядилась пугалом в какой-то лавчонке готового платья на Маркет-стрит. И после того как мы с Джейн столько возились с ней, столько убили на неё времени, помогали советом, хоть бы она какую-нибудь малость ей подарила!

Общественное мнение, считавшее, что заботливость миссис Стайвер построена исключительно на меркантильных расчётах, нисколько не было опечалено мало доходностью её поездки; но когда Пег отказалась внести свою лепту на погашение закладной на новую пресвитерианскую церковь и даже не захотела стать держателем акций шахты «Союз», считавшихся мно-

гими столь же богоугодным и надёжным помещением капитала, популярность её начала уменьшаться. Несмотря на это, Пегги, как и до процесса, оставалась равнодушной к общественному мнению; она сняла маленький домик, поселилась там, очевидно, на условиях полного равенства со старухой, работавшей когда-то в той же гостинице, что и она, и распоряжалась своим капиталом без посторонней помощи.

Хотелось бы мне и тут отметить её рассудительность, но факты остаются фактами: Пегги наделала глупостей. Непокколебимое упорство, с которым она прежде отстаивала свои права, проявлялось теперь и во всех её неудачных спекуляциях. Она всадила двести тысяч долларов в давно истощённую шахту, разработка которой была начата покойным завещателем. Пегги сделала всё, чтобы «Роквиллский авангард» продолжал влачить своё существование, когда даже враги потеряли к нему всякий интерес; она продолжала держать двери гостиницы «Роквилл» гостеприимно открытыми, хотя туда уже никто не заглядывал; она лишилась поддержки и расположения своего компаньона из-за пустяковой размолвки и никак не желала пойти на мировую; затеяла три тяжбы, уладить которые при желании не стоило бы ни малейшего труда. Я отмечаю все эти недостатки, чтобы показать, что Пегги была далеко не героиня. Но я расскажу об её романе с Джеком Фолинсби, и вы поймёте, что она была женщина незаурядная.

Бурное житейское море выкинуло этого красивого, беспутного бродягу на отмели Рыжей Собаки без цента в кармане, но всё ещё не лишённого привлекательности. Он обосновался в ветхой хижине неподалеку от целомудренной

обитатели Пегги Моффет. Бледный, истощённый беспутным образом жизни, с дрожащим от избыточной чувствительности голосом, что можно было также объяснить чрезмерным употреблением спиртных напитков, — Джек Фолинсби с томным видом слонялся по Рыжей Собаке, имея много свободного времени и мало друзей. В таком-то обольстительном *неглиже*, нравственном и физическом, он предстал пред Пегги Моффет. Больше того, иногда можно было видеть, как Джек ковыляет за ней по посёлку. Критическое око Рыжей Собаки не оставило без внимания эту странную пару: Джек — многоречивый, повидимому, одолеваемый раскаянием, стыдом, муками совести, недугом; и Пег — раскрасневшаяся, с открытым ртом, неуклюжая, но не помнящая себя от восторга. При виде всего этого критическое око Рыжей Собаки многозначительно подмигивало Роквиллу.

Никто не знал, что происходило между ними. Но в один прекрасный летний день на главной улице Рыжей Собаки показался открытый шарабан, в котором восседали Джек Фолинсби и наследница трёх миллионов. Джек, всё ещё несколько измождённый, правил с былой рисовкой, а мисс Пегги, в громадной шляпе с лентами жемчужного цвета, чуть темнее её волос, рдела, как маков цвет, сидя рядом с ним и ухватив короткими пальцами в розовых перчатках букет чайных роз. Парочка проследовала из шумного посёлка прямо в лес, навстречу заходящему солнцу.

По всей вероятности, зрелище это было не из чарующих, и всё же, когда тёмная колонна торжественных сосен расступилась, принимая их в свои недра, рудокопы побросали работу и, опираясь на заступы, проводили шара-

бан взглядом. Может, виной этому было солнце, а может, и тот факт, что когда-то они сами были молоды и бесшабашны, но критическое око Рыжей Собаки увлажнилось слезой, глядя вслед удалявшемуся экипажу.

Луна стояла уже высоко, когда Джек и Пегги вернулись. Те, кто поджидал Джека с поздравлениями по поводу предстоящих перемен в его судьбе, очень огорчились, увидев, что, доставив свою спутницу домой, он покинул Рыжую Собаку. От Пегги ничего не удалось выведать; она не изменила своего образа жизни, попрежнему всаживала тысячу-другую долларов в неудачные спекуляции, не отступая от правил строжайшей экономии в личных расходах. Недели проходили за неделями, а развязка этой романтической идиллии была всё ещё неизвестна. Никто ничего не знал до тех пор, пока месяц спустя Джек вдруг не объявился в Сакраменто, вооружённый биллиардным кием и преисполненный негодования.

— Должен вам сознаться, джентльмены, конечно, по секрету, — сказал Джек весьма сочувственно настроенным игрокам, которые окружили его, — должен вам сознаться, что я относился к этой веснущатой, красноглазой, белобрысой девице так, как будто она была, ну, по крайней мере, актриса. Кроме того, должен вам сказать, что сама она чувствовала ко мне не меньшее расположение! Смейтесь, но это так! Как-то раз я повёз её кататься в шарабане — при всём параде, как и полагается — и по дороге сделал ей предложение честь-честью, всё равно как благородной даме — хоть сию минуту венчаться! И что же она ответила? — с истерическим смехом вскричал Джек. — Да чорт её побери! Предложила мне двадцать пять долла-

ров в неделю, с прекращением выплаты, как только я отлучусь куда-нибудь из дома!

Громовой хохот, которым было встречено это откровенное признание, прервал чей-то спокойный голос:

— А что вы на это ответили?

— Что я ответил? — возопил Джек. — Да я послал её к чортовой матери со всеми её деньгами!

— А говорят, — продолжал спокойный голос, — что вы попросили у неё взаймы двести пятьдесят долларов на поездку в Сакраменто — и получили их!

— Кто это говорит? — взревел Джек. — Покажите мне этого наглого враля!

Наступила мёртвая тишина. Владелец спокойного голоса, Джек Гемлин, неторопливым движением достал из-под стола кусок мела и, натерев кий, заговорил тихо, но внушительно:

— Это говорит один мой старый приятель из Сакраменто, человек с деревянной ногой, одноглазый, без двух пальцев на правой руке и вдобавок чахоточный. Не имея возможности отстаивать свои слова лично, он поручает это мне. Поэтому, — продолжал Гемлин, бросив кий и свирепо уставившись своими чёрными глазами на Джека, — допустим, в интересах нашего спора, что это говорю я!

Боюсь, что эта история — соответствует она истине или нет — не увеличила популярности Пег в обществе людей, которым беззаботность и щедрость заменяли все другие добродетели, а возможно, что жители Рыжей Собаки были так же мало гарантированы от предвзятости суждений, как и другие более цивилизованные, но столь же подверженные чувству разочарования любители сватать.

В течение следующего года Пег опять затеяла несколько безрассудных спекуляций и потерпела большие убытки. Казалось, что она вся во власти лихорадочного желания любой ценой увеличить свой капитал. Наконец стало известно, что Пегги намерена снова открыть свою злосчастную гостиницу и содержать её уже только на собственные средства. Хотя в теории затея эта казалась дикой, на деле она как будто обещала успех.

Многое тут, безусловно, можно было объяснить познаниями Пегги в этой области, а ещё больше её бережливостью и неустанными трудами. Обладательница миллионов сама стряпала, стирала бельё, прислуживала за столом, стелила постели и работала не покладая рук, как простая служанка. Посетителей привлекало это необычное зрелище. Доходы гостиницы возрастали по мере того, как падало уважение к хозяйке со стороны клиентов. Об её жадности ходили анекдоты один другого чудовищней. Утверждали, что она сама разносит багаж постояльцев по номерам в надежде на чаевые, которые обычно полагаются швейцару. Она отказывала себе во всём самом необходимом. Одевалась бедно, недоедала, но гостиница делала хорошие дела.

Кое-кто намекал, что Пегги рехнулась; другие качали головой и уверяли, что над завещанным ей богатством тяготеет проклятие. Поговаривали также, что, судя по её виду, она не сможет долго вынести такое напряжение сил. Шли уже толки о том, кому в конце концов достанется наследство.

Одному только Джеку Гемлину посчастливилось разъяснить миру этот и кое-какие другие вопросы, касающиеся Пег.



В одну бурную декабрьскую ночь ему довелось быть в числе постояльцев гостиницы «Роквилл». В последние две-три недели мистер Джек Гемлин перенёс свою благородную деятельность в пределы Рыжей Собаки и, по картинному выражению одного из своих сподвижников, «обчистил посёлок до нитки, оставив ему только плату за свой билет в кармане кучера». «Знамя», выходявшее в Рыжей Собаке, оплакивало разлуку с ним в шутливом некрологе, который начинался: «О Джонни, ты покинул нас»; дальше шло «в недобрый час», а последующие «сердечные раны» невольно вызывали в уме рифму «пустые карманы». Вполне понятно, что всё существо мистера Гемлина было проникнуто теперь чувством спокойного удовлетворения и в речах его больше обычного скользили лень и хладнокровие.

В полночь, когда мистер Джек Гемлин намеревался уже отойти ко сну, его удивил лёгкий стук в дверь, вслед за которым в комнате появилась мисс Пегги Моффет, наследница и хозяйка гостиницы «Роквилл».

Несмотря на своё прежнее заступничество, мистер Гемлин недолюбливал Пегги. Его разборчивый вкус восставал против её невзрачности; его образ мышления и привычки шли вразрез со всем тем, что ему приходилось слышать об её скаредности и алчности. Стоя перед ним в грязном коленкоровом халате, который благоухал кухней, багровая от смущения и жара плиты, она являла собой малопривлекательное зрелище. Несмотря на поздний час и дурную славу человека, стоявшего перед ней, Пегги была в полной безопасности. Впрочем, боюсь, что даже сознание этой безопасности не помогло ей оправиться от смущения.

— Мне бы хотелось поговорить с вами в глаза на глаз, мистер Гемлин, — начала Пегги, сев без приглашения на краешек чемодана, — иначе я бы и не стала вас беспокоить. В другое время вас не поймаете, да и я сама торчу на кухне с раннего утра до поздней ночи.

Она запнулась, словно прислушиваясь к ветру, который рвал ставни и пеленой дождя застилал непроницаемую тьму за окнами. Потом расправила на коленях халат и, приступив к беседе, пробормотала:

— Дождь-то как хлещет!

Мистер Гемлин ответил зевком на это замечание метеорологического характера и стал снимать сюртук.

— Я думаю, вы не откажетесь сделать мне одно одолжение, — продолжала Пег с вымученным смешком, — ведь люди толкуют, что вы относитесь ко мне по-дружески и заступились за меня, хотя никакой нужды у вас в этом не было. Немного таких найдётся, — продолжала она, не поднимая глаз и проводя пальцем по шву халата, — кто замолвит теперь за меня доброе словечко. — Нижняя губа у Пегги задрожала, после тщетных поисков носового платка она подняла подол и утёрла свой вздёрнутый нос, но в глазах, которые Пегги подняла на мистера Гемлина, всё ещё стояли слёзы.

Мистер Гемлин, к этому времени уже освободившийся от сюртука, перестал расстёгивать жилет и посмотрел на неё.

— Того и гляди Норт-Форк выйдет из берегов, если так будет лить, — извиняющимся тоном проговорила Пег, глядя в окно.

Она замолчала, и мистер Гемлин снова принялся расстёгивать жилет.

— Я хотела просить вас насчёт мистера...

на счёт мистера... Джека Фолинсби, — заторопилась Пегги. — Он опять заболел, ему сейчас очень плохо. Проигрывает кучу денег то одному, то другому, а больше всех вам. Вы взяли у него вчера две тысячи долларов — всё, что у него было.

— Ну и что же? — холодно спросил игрок.

— Так вот я думала, раз уж вы относитесь ко мне по-дружески, не попросить ли, чтобы вы как-нибудь его отвадили от карт, — сказала Пегги с деланным смехом. — Вы это можете. Не принимайте его в игру.

— Уважаемая Маргарет Моффет, — лениво и спокойно сказал Джек и, вынув часы, стал заводить их, — если уж вы так сочувствуете Джеку Фолинсби, то вам самой гораздо проще разъединить нас. Вы богатая женщина! Дайте ему денег, чтобы он сорвал мой банк или сам сорвался раз и навсегда; не позволяйте ему вертеться около меня в надежде на отыгрыш. Плохой расчёт, уважаемая, очень плохой расчёт!

Более тонкая натура не поняла бы этого игорного жаргона или возмутилась бы словами игрока и таившейся в них грустной истиной. Но Пегги поняла всё и замолчала в безнадежном унынии.

— Послушайтесь моего совета, — продолжал Джек, пряча часы под подушку и неторопливо развязывая галстук, — бросьте глупости, выходите за этого молодца замуж, передайте ему ваши капиталы и все денежные дела, а то они когда-нибудь сведут вас в могилу. Он живо порастрясёт ваши денежки. Я вовсе не надеюсь, что они перейдут в мой карман, потому что, стоит ему только урвать солидный куш, как он мигом махнёт во Фриско и просадит деньги

там, в каком-нибудь первоклассном игорном доме. Не стану также предрекать, что вам не удастся исправить его. Я ничего не предрекаю; возможно даже, — если уж вам здорово повезёт, — что он окачурится, прежде чем спустит ваши капиталы. Скажу только одно: *сейчас* вы можете его осчастливить, а раз уж вы так благоволите к нему, — мне ещё в жизни ничего подобного не приходилось видеть, — то и ваши собственные чувства от этого не пострадают.

Кровь отхлынула от лица Пегги, когда она подняла голову.

— Вот по этому самому я и не могу отдать ему деньги, а без денег он на мне не женится.

Рука мистера Гемлина оставила последнюю нерасстёгнутую пуговицу жилета.

— Не можете... отдать... ему... деньги! — медленно повторил он.

— Да.

— Почему?

— Потому что... потому что я *люблю* его.

Мистер Гемлин снова застегнул жилет на все пуговицы и с терпеливым видом уселся на кровать. Пегг встала и неловко придвинула чемодан поближе к нему.

— Когда Джеймс Байуэйс завещал мне свои деньги, — начала она, боязливо озираясь, — он выставил одно *условие*. Не то, которое было написано в завещании, — другое, он передал его мне на словах. И я пообещала ему в этой комнате, мистер Гемлин, в этой самой комнате, у этой самой кровати, на которой вы сидите, — пообещала выполнить его условие.

Как и большинство игроков, мистер Гемлин был суеверен. Он *поспешно* встал с кровати и пересел к окну. Ветер громыхал ставнями,

словно там, за окном, беспокойный дух мистера Байуэйса требовал исполнения своей последней воли.

— Вы его, верно, уж не помните, — горячо говорила Пег. — Ему в жизни много пришлось вынести. Все, кого он только ни любил, — жена, родственники, друзья, — все от него отвернулись! На людях-то он и виду не подавал, а мне, — я ведь девушка простая, — мне во всём открылся. Я никому об этом не рассказывала, — продолжала Пег, шмыгая носом, — не знаю, зачем ему вздумалось и меня тоже сделать несчастной, просто не знаю. Заставил меня пообещать, что если он откажет мне своё состояние, я никогда, никогда — помощи мне боже! — не поделюсь с тем, кого люблю, будь то мужчина или женщина! Тогда я не думала, что так трудно будет сдержать слово, мистер Гемлин, я ведь была бедная и, кроме как от него, доброго отношения к себе никогда не видела.

— Но обещание уже нарушено, — сказал Гемлин, — насколько я знаю, вы давали Джеку деньги.

— Только то, что заработала сама! Послушайте, мистер Гемлин! Когда Джек сделал мне предложение, я пообещала отдавать ему всё, что надеялась заработать. Когда он уехал, заболел там и попал в беду, я поселилась здесь и открыла гостиницу. Я знала, что она даст доход, если только хорошенько поработать. Вы не смейтесь! Я работала не покладая рук, и доходы были, — до наследства я и не дотронулась. И всё, что я зарабатывала неустанным трудом, всё шло ему! Да, мистер Гемлин! Я уж не так безжалостна к мистеру Джеку, как вы думаете; правда, могла бы быть ещё добрее, я знаю!

Мистер Гемлин встал, неторопливо надел сюртук, шляпу, пальто, взял часы. Закончив свой туалет, он повернулся к Пегги.

— Значит, вы отдавали этому херувимчику всё, что зарабатывали своими руками?

— Да, но он не знал, что это за деньги. Он ничего не знал, мистер Гемлин!

— Так если я вас правильно понял, он сражался в фараон на заработанные вами деньги? А вы сами гнули спину в гостинице?

— Он ничего не знал, он не согласился бы принять деньги, скажи я ему правду.

— Да, он скорее умер бы! — сдержанно проговорил мистер Гемлин. — Он такой щепетильный, этот Джек Фолинсби, — ему и от меня трудно принять деньги. Но где же этот ангел обретается, когда он свободен от сражений на зелёном поле и может, так сказать, быть виден невооружённым глазом?

— Он... он... живёт здесь, — покраснев, сказала Пег.

— Ага! Разрешите узнать номер комнаты или, может быть, я помешаю его размышлениям? — со сдержанной вежливостью продолжал Джек Гемлин.

— Значит, вы обещаете? Вы поговорите с ним и с него тоже возьмёте обещание?

— Безусловно! — ответил Гемлин.

— Только не забудьте, что он болен, очень болен. Он в сорок четвёртом номере, в конце коридора. Может, мне проводить вас?

— Я сам найду.

— Вы уж не очень его обижайте!

— Я как родной отец с ним поговорю, — ироническим тоном сказал Гемлин, открывая дверь в коридор. Но на пороге он остановился и, повернувшись к Пегги, с серьёзным видом про-

тянул руку. Пегги робко пожала её. То ли Джек шутил, то ли нет — чёрные глаза ничего не сказали на её вопрошающий взгляд. Но он ответил ей крепким рукопожатием и удалился.

Комнату номер сорок четыре Джек нашёл без всякого труда. В ответ на его стук послышались глухой кашель и ворчание. Мистер Гемлин вошёл без дальнейших церемоний. Он почувствовал тошнотворный запах лекарств, чего-то спиртуозного и увидел полуодетого, исхудалого Джека Фолинсби, растянувшегося на кровати. В первую минуту мистер Гемлин остолбенел. Глаза больного были обведены тёмными кругами, руки его дрожали, как у паралитика, в лихорадочном дыхании чувствовалась близость смерти.

— Кто там ходит? — спросил он хриплым, встревоженным голосом.

— Это я хожу и тебя сейчас тоже подниму на ноги.

— Я не могу, Джек. Моё дело кончено. — Он потянулся дрожащей рукой к стакану с какой-то подозрительной на вид, сильно пахнущей жидкостью, но мистер Гемлин остановил его.

— Хочешь получить назад проигранные две тысячи?

— Да.

— Тогда женись на этой женщине.

Фолинсби засмеялся не то истерически, не то насмешливо.

— Она мне таких денег не даст!

— Я дам.

— Ты?

— Да.

Пытаясь беззаботно рассмеяться, Фолинсби, весь дрожа, с трудом спустил отёкшие ноги с

кровати. Гемлин пристально посмотрел на него и велел лечь.

— Ладно, отложим, — сказал он, — а завтра...

— А если я не соглашусь?

— А не согласишься, — ответил Гемлин, — тогда я выставляю свою кандидатуру, а тебя на задний план!

Но следующее утро избавило мистера Гемлина от такого неблагородного поступка, ибо ночью угасший дух мистера Джека Фолинсби умчался прочь на крыльях юго-восточного ветра. Когда и как это случилось, никто не знал. Ускорило ли его кончину вчерашнее волнение и мысль о предстоящей женитьбе, или чрезмерная доза болеутоляющего снадобья, — это осталось неизвестным. Я знаю только одно: на следующее утро, когда его пришли разбудить, лучшее, что осталось от Джека Фолинсби, — лицо, всё ещё красивое и юношеское, — холодно глянуло в полные слёз глаза Пегги Моффет.

— Это мне по заслугам, это справедливое наказание, — шопотом сказала она Джеку Гемлину. — Господь знал, что я нарушила обет и отказала Джеку все свои деньги.

Пегги недолго пережила его. Привёл ли мистер Гемлин в исполнение свою угрозу, высказанную той ночью горячо оплакиваемому теперь Джеку Фолинсби, неизвестно. Он оставался другом Пегги и, согласно завещанию, стал её душеприказчиком. Но большая часть наследства, оставшегося после Пегги Моффет, перешла к дальнему родственнику красавца Джека Фолинсби и навсегда скрылась из поля зрения Рыжей Собаки.



---

## ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ ЛАПОРТА

**О**н был пионер. Партия старателей, которая проложила себе дорогу через снеговые заносы зимой 1851 года и нашла треугольную маленькую долину, названную впоследствии Лапортом, встретила там одного-единственного жителя. В течение трёх месяцев он поддерживал свои силы, съедая в день по два сухаря и по кусочку бекона пальца в три шириной, и жил в шалаше из коры и прутьёв. Тем не менее золотоискатели нашли его бодрым, жизнерадостным и изысканно вежливым. Но тут я с удовольствием уступаю место капитану Генри Саймсу, начальнику партии старателей, и его более красочному повествованию:

— Мы на него набрели невзначай, джентльмены, смотрим, — сидит себе под скалой (отмеривая расстояние), примерно вот так, как вы стоите. Только он нас завидел, сейчас ныряет к себе в шалаш, вылезает оттуда в цилиндре — сущая печная труба, джентльмены, и в перчатках, убей меня бог! Длинный, худой, щёки втянуты дальше некуда; рожа постная, да оно и понятно, если принять во внимание голодный паёк. Однако приподнимает вот этак цилиндр и говорит: «Я счастлив с вами познакомиться,

джентльмены, боюсь, что дорога сюда показалась вам несколько неудобной. Не угодно ли сигару?» И вытаскивает этакий щегольской портсигар с двумя настоящими гаванами. «Сожалею, что так мало осталось».

— А сами вы не курите? — говорю я.

— Редко, — говорит он. И всё ведь врал: в этот же день я видел, как он дымил коротенькой трубочкой, изо рта её не выпускал, как младенец соску. — Сигары я держу для гостей.

— У вас тут, наверное, частенько собирается высшее общество? — говорит Билл Паркер, разглядывая в упор цилиндр и перчатки, а сам подмигивает ребятам.

— Заходят изредка индейцы, — говорит он.

— Индейцы! — говорим мы.

— Да. Очень хороший по-своему народ. Раза два приносили мне дичь, да я отказался, не взял, беднягам и самим туго приходится.

— Ну, джентльмены, всем известно, что мы люди мирные; тихие, можно сказать, люди, но эти самые «хорошие» индейцы в нас стреляли раза три, а у Билла сняли вершка три кожи с черепа, вместе с волосами, оттого он и ходит в венке, наподобие римского сенатора, — так вот всем показалось, что этот чужак бессовестно над нами издевается. Билл Паркер встал, смерил его взглядом и говорит спокойным голосом:

— Так вы говорите, эти самые индейцы, мирные индейцы, приносили вам дичь?

— Приносили, — говорит.

— А вы отказались?

— Отказался.

— Вот, должно быть, расстроились. Каково это им при их чувствительной натуре? — говорит Билл.

— Да, кажется, были очень огорчены.

— Ну, ещё бы, — говорит Билл. — А позволите спросить, кто вы такой будете?

— Извините, пожалуйста, — говорит незнакомец и — провалиться мне на этом месте — вытаскивает бумажник, протягивает Биллу и говорит: — Вот моя карточка.

Билл берёт и читает вслух: — Дж. Тротт, из Кентукки.

— Ничего себе карточка, — говорит Билл.

— Очень рад, что она вам понравилась, — говорит незнакомец.

— Думаю, и остальные пятьдесят одна карта в колоде не хуже этого — одни фигуры да козыри.

Незнакомец молчит себе и пятится от Билла, а тот на него наседает.

— Ну, так какая же ваша игра, мистер Дж. Тротт из Кентукки?

— Я вас не совсем понимаю, — говорит незнакомец и весь вспыхивает, словно табак в трубке.

— Куда это вы так нарядились? Цилиндр, перчатки? Что за цирк? К чему вы это затеяли? Кто вы такой, собственно говоря?

Незнакомец поднимается с места и говорит:

— Я не ссорюсь с гостями на собственной земле, и из этого вы можете заключить, что я джентльмен.

Тут он снимает свой цилиндр, низко кланяется — вот так — и поворачивает к нам спину — таким вот манером, — а Билл вдруг задрал правую ногу да как саданёт сапогом по этому самому цилиндру — продавил начисто, как обруч в цирке.

Больше я ничего не могу припомнить, джентльмены. Да и никто из нас под присягой не мог бы показать, что после этого случилось, а

незнакомец держал язык за зубами. Что-то вроде урагана пронеслось по долине. Я ничего не помню, кроме пыли и движения. Криков не было, не было и стрельбы. Бывают такие неожиданности, что и выстрелить не успеешь. Очнулся я в зарослях чапарраля, на мне осталась только половина рубашки, в карманах я нашел фунта с три песку и камней, да и в волосы порядком понабилося. Гляжу вверх и вижу, что Билл застрял в развилине орешника футах в двадцати надо мной.

— Капитан, — говорит он, как будто в забвении, — кончился торнадо?

— Чего? — говорю я.

— Вот это самое стихийное бедствие, кончилось оно?

— Как будто, — говорю я.

— Потому что, — говорит он, — перед началом этого явления природы у меня вышло маленькое недоразумение с незнакомцем, и я хотел бы извиниться.

С этими словами он спокойно слезает с дерева, идёт в шалаш и выходит под руку с незнакомцем, улыбаясь, как младенец. Вот тогда-то мы и узнали как следует Джентльмена из Лапорта.

Вполне возможно, что изложенные в этом рассказе события слегка преувеличены, и осторожный читатель хорошо сделает, если отнесётся без особенного доверия к явлению природы, на который ссылается капитан. Достоверно то, что Джентльмену из Лапорта прощалась некоторая эксцентричность и в то же время личная доблесть оберегала его от критики. Так это и было объявлено во всеуслышание.

— Сдаётся мне, — заметил один кроткий новичок, который, получив из Штатов известие о

кончине дальнего родственника, украсил свою белую войлочную шляпу полосой траурного крепа необычайной ширины, в силу чего должен был «угостить» публику в гостинице Паркера, — сдаётся мне, джентльмены, что этот налог на естественное проявление горя плохо вяжется с таким праздничным нарядом, как жёлтые лайковые перчатки на джентльмене справа от меня. Я непрочь угостить публику, только, по-моему, резолюция у нас не вполне соответствует программе.— Такое воззвание к демократии заставило промолчать Джентльмена из Лапорта; ответить должен был, очевидно, владелец бара, мистер Уильям Паркер, являвшийся, так сказать, председателем собрания.

— Молодой человек, — возразил он сурово, — когда вы наденете такие перчатки, как на нём, и они у вас будут мелькать в воздухе, как молния, ударяя в четыре места разом, вот тогда и разговаривайте. Тогда можете надевать всё, что вам угодно, хоть наизнанку!

Публика была того же мнения, и покладистый новичок, заплатив за выпивку, готов был даже снять траурную полосу крепа, если бы его не остановил весьма учтиво Джентльмен из Лапорта.

И всё же, смею вас уверить, по внешности его грозная доблесть была мало заметна. Это была нескладная, длинноногая фигура, связанная в движениях и совершенно лишённая живости и ловкости. Руки у него были необыкновенно длинные и висели вдоль тела, вывернутые ладонями наружу. При ходьбе он загребал носками, и это наводило на мысль, что предки его были индейцы. Лицо, насколько помню, было тоже нескладное. Худое и унылое, оно редко освещалось улыбкой, которая только

из учтивости отдавала должное комическим дарованиям собеседника, сам же он был не в состоянии их оценить. Прямые чёрные волосы и широкие скулы должны были бы подчёркивать близость к индейскому типу, но странные глаза, не вязавшиеся ни с одной из черт лица, ослабляли это впечатление. Они были изжелта-голубые, навывкате, с неподвижным взглядом. По ним нельзя было угадать ни одной мысли Джентльмена из Лапорта, нельзя было предвидеть ни одного его поступка. Они не вязались ни с его речью, ни с его манерой держаться, ни даже с его замечательным костюмом. Некоторые непочтительные критики высказывали мнение, что он потерял глаза в какой-нибудь пограничной стычке и наспех заменил их глазами своего противника.

Если б эта остроумная гипотеза дошла до ушей Джентльмена, он, верно, ограничился бы простым отрицанием и не заметил бы ничего несообразного в этом юмористическом утверждении. Ибо, как уже сообщалось раньше, одной из его особенностей была полная невосприимчивость к комической стороне вещей. Отсутствие чувства юмора и невозмутимая серьёзность, редкие в такой среде, где самые драматические эпизоды не лишены юмористических чёрточек и где обычным развлечением служит «разыгрывание», сочетались в нём с прямою, от которой можно было притти в отчаяние.

— Мне кажется, — заметил он одному уважаемому гражданину Лапорта, — что, намекая на пристрастие мистера Уильяма Пегхеммера к спорам, вы сказали, будто бы слышали однажды ночью, как он не спал и пререкался с кузнечиками. Он же сам уверял меня, что это выдумка, а я могу прибавить, что провёл с ним эту ночь

в лесу и ничего подобного не заметил. Повидимому, вы сказали неправду.

Суровость этой отповеди отбила у всех охоту шутить в его присутствии. Не могу сказать наверное, но, кажется, именно после этого вокруг него создалась атмосфера известной аристократической отчуждённости.

Неразрывно связанный с посёлком со времени его основания, мистер Тротт делил с ним его судьбу и участвовал в его процветании. Как один из открывших «Орлиный прииск» он пользовался некоторым доходом, позволявшим ему жить, не работая, и на свободе следовать своим немногочисленным и недорого стоящим причудам. Он заботился о собственной внешности, что сводилось в общем к чистой рубашке, а кроме того, любил делать подарки. Они были ценны не столько сами по себе, сколько по связанным с ними воспоминаниям. Одному из близких друзей он подарил тросточку, вырезанную из ствола дикой лозы, которая росла над тем местом, где была открыта знаменитая «Орлиная жила»; набалдашник украшал прежде палку, которую когда-то подарили отцу мистера Тротта, а наконечник был сделан из последнего серебряного полудоллара, привезённого им в Калифорнию.

— Можете себе представить, — говорил возмущённый обладатель этого трогательного дара, — я хотел было поставить её на кон у Робинсона вместо пяти долларов, так ребята и смотреть не захотели, сказали, чтоб я вышел из игры. Не умеют ценить ничего святого в нашем посёлке.

Как раз в это время буйного роста и процветания посёлка граждане Лапорта единогласно избрали Джентльмена в мировые судьи. Что

он выполнял свои функции с достоинством, было вполне естественно; но то, что он обнаружил странную снисходительность при взыскании штрафов и наложении наказаний, было неожиданным и довольно неприятным открытием для посёлка.

— Закон требует, сэр, — говаривал он какому-нибудь явному преступнику, — чтобы я предложил вам выбрать между заключением под стражу на десять дней и штрафом в десять долларов. Если у вас нет при себе денег, мой секретарь, без сомнения, ссудит их вам.

Нечего и говорить, что секретарь неизменно одамливал преступнику эти деньги и что в перерыве заседания судья немедленно возвращал их секретарю. И только в одном случае упрямый преступник из чистого злопыхательства, а может быть, не желая, чтобы судья платил за него, отказался взять у секретаря деньги на уплату штрафа. Его тут же отправили в окружную тюрьму. Из довольно достоверных источников стало известно, что после заседания судью видели, в ослепительном белом и жёлтых перчатках, направляющимся к окружной тюрьме — маленькому глинобитному строению, которое служило также архивом; что судья, просмотрев для вида несколько дел, вошёл в тюрьму, как будто бы для официальной ревизии, что позже вечером шериф, стороживший заключённого, был послан за бутылкой виски и колодой карт. Утверждают, будто бы в этот вечер во время дружеской партии в «юкр», составленной для развлечения заключённого, страж проиграл ему всю свою месячную получку, а судья — своё жалованье за целый год. Вся эта история была встречена недоверчиво, как несовместимая с достоинством судьи Тротта, хотя она вполне



отвечала добродушную его характера. Достоверно, однако, что этой снисходительностью он чуть не погубил свою репутацию, но тут же спас её, проявив силу характера в качестве частного лица. Талантливый молодой адвокат из Сакраменто выступал в качестве защитника перед судьёй Троттом, но, будучи уверен в успехе своего выступления перед таким примитивным судом, он не счёл нужным скрывать презрение к нему в своём заключительном слове. Когда он кончил, судья Тротт не двинулся с места, только его широкие скулы слегка покраснели. Но здесь мне снова придётся воспользоваться выразительным языком очевидца.

— Тут судья вывесил красный флаг в знак опасности и говорит этак хладнокровно шаркуну из Сакраменто:

— Молодой человек, — говорит, — знаете ли вы, что я могу вас оштрафовать на пятьдесят долларов за неуважение к суду?

— Ну так что же? — говорит шаркун, дерзкий и нахальный, как слепень. — Штрафуйте, я заплачу.

— Должен, однако, предупредить вас — говорит Джентльмен мрачным голосом, — что я этого делать не намерен, я признаю свободу слова и — действия! — Тут он поднимается, расправляет, так сказать, плечи, протягивает руку Правосудия, хватает этого шаркуна и вышвыривает его за окно в канаву, футов примерно за двадцать.

— Вызовите истца и ответчика по следующему делу — говорит он, усаживаясь на место, и преспокойно смотрит себе на всех своими белыми глазами, как будто ничего особенного не случилось.

Для Джентльмена было бы удачей, если бы такие эксцентричные выходки всегда сходили ему с рук не менее благополучно. Но роковая и до сих пор никому не известная слабость была проявлена Троттом в том самом суде, где он одержал столько побед, и на некоторое время поколебала его репутацию. Одна особа с сомнительным прошлым и весьма свободными манерами, богиня, правившая «Колесом Фортуны» в первом из игорных домов Лапорта, подала в суд на некоторых граждан за то, что они «силой» вломилась в её салун и разнесли вдребезги рулетку. Ей помогал ловкий адвокат и горячо сочувствовал один джентльмен, который не был её мужем. Однако, несмотря на такую влиятельную поддержку со стороны, ей не повезло. Преступление было доказано, но присяжные тут же, не сходя с места, вынесли приговор в пользу ответчиков. Судья Тротт обратил к ним свой кроткий взгляд.

— Так ли я вас понял? Это ваш окончательный приговор?

— Можете прозакладывать последние сапоги, ваша честь, — ответствовал старшина присяжных с весёлой, но безобидной непочтительностью, — что дело обстоит именно так.

— Господин секретарь, — сказал судья Тротт, — составьте приговор и занесите в протокол, что я слагаю с себя звание судьи.

Он встал и вышел из зала суда. Напрасно влиятельные граждане Лапорта бежали за ним вдогонку, намереваясь объяснить, напрасно доказывали ему, что истица не заслуживает внимания, да и дело её тоже — дело, ради которого он пожертвовал собой. Напрасно присяжные давали ему понять, что его отставка явится для них оскорблением. Судья Тротт рез-

ко повернулся к старшине присяжных с зловещей краской на своих широких скулах.

— Что вы сказали? Я вас не понял, — переспросил он.

— Я говорил, — поспешно ответил старшина, — что бесполезно будет спорить на этот счёт, — и отступил, несколько опередив остальных присяжных, как того требовало его официальное положение. Судья Тротт так и не вернулся на своё место.

Прошёл добрый месяц после его отставки, и Джентльмен сидел в сумерках «под сенью своей лозы и смоковницы», — выражение фигуральное, в данном случае обозначающее секвойю и плющ, — перед дверью той самой хижины, в которой он имел честь познакомиться с читателем, когда перед ним возникли неясные очертания женской фигуры и послышался женский голос. Джентльмен растерялся и вставил в правый глаз большой монокль в золотой оправе, который теперь считался в посёлке последней из его модных причуд. Фигура была незнакомая, но голос Джентльмен узнал сразу: он принадлежал истице, памятной ему по последнему судебному заседанию, столь чреватому последствиями. Следует тут же сказать, что это был голос мадмуазель Клотильды Монморанси; справедливо будет прибавить, что, поскольку она не говорила по-французски и бесспорно принадлежала к англо-саксонской расе, это имя, повидимому, было ею присвоено в связи с игрой, которой она управляла и которая, по мнению жителей посёлка, была иностранного происхождения.

— Мне хотелось бы знать, — сказала мисс Клотильда, садясь на скамью рядом с Джентльменом, — то есть нам с Джейком Вудсом хоте-

лось бы знать, сколько, вы думаете, вылетело у вас из кармана из-за этой вашей отставки?

Почти не слушая её слов и больше занятый самым её появлением, судья Тротт пробормотал невнятно:

— Кажется, я имею удовольствие видеть мисс...

— Если вы хотите этим сказать, что вы меня не знаете, никогда в жизни не видели и больше видеть не желаете, то, на мой взгляд, это довольно вежливо сказано, — заметила мисс Монморанси неестественно спокойно, сгребая сухие листья кончиком зонта, чтобы скрыть своё волнение. — Я — мисс Монморанси. Я говорю: мы с Джейком подумали — раз вы стояли за нас, когда эти собаки-присяжные наврали три короба в приговоре, — мы с Джейком подумали, что несправедливо будет, если вы потеряете место из-за меня. Узнай у судьи, — говорит Джейк, — сколько он потерял из-за этой самой отставки, пускай сам подсчитает. Вот что сказал Джейк. Он малый порядочный, это уж во всяком случае.

— Мне кажется, я вас не понимаю, — сказал судья Тротт просто.

— Ну вот, так я и знала! — продолжала мисс Клотильда, едва скрывая огорчение. — Так я и говорила Джейку. «Судья нас с тобой не поймёт, — вот что я говорила. — Он такой гордый, что и смотреть на нас не захочет. Во вторник я встретила с ним на улице нос к носу, и он сделал вид, будто меня не замечает — даже на поклон не ответил».

— Сударыня, уверяю вас, вы ошиблись, — поторопился сказать судья Тротт. — Я вас не видел, поверьте мне. Дело в том, — я и себе

боюсь в этом сознаться,— что моё зрение с каждым днём слабеет.

Он замолчал и вздохнул. Мисс Монморанси, глядя снизу вверх на его лицо, заметила, что он бледен и взволнован. Со свойственной жещинам быстротой интуиции она сразу поверила, что этой физической слабостью объясняется непонятное иначе дерзкое выражение его странных глаз, и это было для неё достаточным извинением. Женщина не прощает мужчине безобразия только в том случае, когда оно необъяснимо.

— Так, значит, вы в самом деле меня не узнали? — сказала мисс Клотильда, слегка смягчившись, но всё же чувствуя себя неловко.

— Боюсь... что нет, — сказал Тротт с извиняющейся улыбкой.

Мисс Клотильда помолчала.

— Вы хотите сказать, что не могли разглядеть меня, когда я была в суде?

Судья Тротт покраснел.

— Боюсь, что я видел только смутные очертания...

— На мне была, — подхватила мисс Клотильда, — соломенная шляпка, подбитая красным шёлком, с загнутым вот так полем и с красными лентами, завязанными бантом вот здесь (указывая на полную шею), настоящая шляпка из Фриско — разве вы не помните?

— Я... то есть... боюсь, что...

— И ещё пёстрая шёлковая мантилька, — тревожно продолжала мисс Клотильда.

Судья Тротт улыбнулся вежливо, но неопределенно.

Мисс Клотильда поняла, что он совсем не заметил её изысканного и со вкусом сшитого

наряда. Она раскидала листья и воткнула зонтик в землю.

— Так, значит, вы совсем меня не видели?

— Очень смутно.

— Так отчего же, если можно вас спросить, — сказала она вдруг, — отчего же вы подали в отставку?

— Я не мог оставаться судьёй после того, как суд утвердил такой несправедливый приговор присяжных, как в вашем деле, — горячо возразил судья Тротт.

— А ну-ка, повтори, старина, — сказала мисс Клотильда с восторгом, который наполовину оправдывал фамильярность обращения.

Судья Тротт учтиво изложил свою мысль в иной форме.

Мисс Монморанси молчала с минуту.

— Так это не из-за меня? — сказала она наконец.

— Мне кажется, я вас не совсем понимаю, — ответил судья с некоторой заминкой.

— Ну вот! Вы это сделали не из-за меня?

— Нет, — сказал судья мягко.

Опять наступило молчание. Мисс Монморанси раскачивала зонтик на носке туфли.

— Ну, — заметила она, — немного же я могу рассказать Джейку.

— Кому?

— Джейку.

— Ах, да — вашему супругу?

Мисс Монморанси щёлкнула застёжкой брашлета и сказала резко:

— А кто говорит, что он мой супруг?

— Ах, простите, пожалуйста.

— Я сказала: «Джейку Вудсу». Он малый порядочный, это уж во всяком случае. Он велел вам передать: «Скажи судье, что если он от нас

что-нибудь возьмёт, это будет не взятка и не подкуп, — совсем наоборот. Тут дело чистое. Приговор вынесен, он больше не судья, для нас он ничего не может сделать, да мы ничего и не ждём, разве только одного. И это вот чего: нам будет приятно знать, что он ничего из-за нас не потерял, ничего не потерял из-за того, что он честный человек и поступил честно». Вот это самое он и сказал. Поняли? Конечно, я знаю, что вы ответите. Знаю, что вы рассердитесь. Из себя выйдете. Я знаю, вы человек гордый, и от таких, как мы, не возьмёте и доллара, даже если будете умирать с голоду. Я знаю, что вы пошлёте Джейка ко всем чертям, да и меня заодно! Ну и наплевать!

Она вышла из себя так неожиданно, так непоследовательно и так бурно, что не было ничего странного, когда всё это кончилось столь же неожиданно истерикой и слезами. Она снова опустилась на скамью, с которой только что встала, и вытирала глаза руками в жёлтых перчатках, не выпуская в то же время зонтик. К её бесконечному удивлению, судья Тротт тихо положил одну руку ей на плечо, а другою отнял мешавший ей зонтик и деликатно положил его на скамью рядом с ней.

— Вы ошибаетесь, дорогая леди, — сказал он почтительно и серьёзно, — глубоко ошибаетесь, если думаете, что я чувствую к вам что-нибудь, кроме благодарности за ваше предложение, настолько необычайное, что, вы и сами понимаете, я не могу его принять. Нет! Позвольте мне верить, что, выполняя свой долг судьбы, как я его понимаю, я заслужил ваше расположение и что теперь, выполняя свой долг человека, я сохраню это расположение за собой.

Мисс Клотильда подняла к нему лицо, словно вслушиваясь вдумчиво и с удивлением в его серьёзную речь. Но она сказала только:

— Можете вы меня разглядеть в этом освещении? На этом расстоянии? Наденьте ваше стёклышко и попробуйте.

Её лицо приблизилось к его лицу. Не помню, говорил ли я, что она была красивая женщина. Прежде она была ещё красивей. От её былых прелестей осталось ещё довольно, чтобы придать «Колесу Фортуны», которым она правила, известную притягательность, благодаря чему игроки шли на риск с большей охотой. Именно это нечестивое соединение Красоты и Риска вызвало ярость жителей Лапорта, которые сочли его неделовым и даже «жульническим».

У неё были красивые глаза. Возможно, судье Тротту никогда не приходилось видеть близко таких красивых глаз и таких выразительных.

Смутившись, он поднял голову, и его широкие скулы покраснели. Потом, отчасти из свойственной ему вежливости, а отчасти желая ввести в разговор третье лицо, чтоб оправиться от смущенья, он сказал:

— Надеюсь, вы передадите вашему другу... мистеру... что я ценю его любезность, хоть и не могу воспользоваться ею.

— Ах, это вы про Джейка! — сказала эта леди. — Он уехал на родину, в Штаты. О нём беспокоиться нечего!

Опять наступило неловкое молчание, быть может, вызванное этим сообщением. Наконец его нарушила мисс Монморанси:

— Вам следует позаботиться о ваших глазах, я хочу, чтоб в следующий раз вы меня узнали.

И они расстались. Судья узнавал её при следующих встречах. А затем Лапорт был взвол-



нован до самых своих глубин, на горных склонах и в шахтах, странными слухами.

Судья Тротт женился в Сан-Франциско на мисс Джен Томпсон, *alias*<sup>1</sup> мисс Клотильде Монморанси. В течение нескольких часов буря негодования и возмущения бушевала над городом; все считали установленным существование преднамеренного тайного заговора. Всем стало ясно как нельзя более, что судья Тротт подал в отставку ради того, чтобы получить её руку и небольшое состояние, которым она обладала. Его репутации повредить было уже невозможно. Зато был проявлен ненормальный интерес к судьбе и репутации её бывшего любовника Джейка Вудса, жертвы двойного предательства — со стороны судьи Тротта и мисс Клотильды. Составили комиссию, чтобы написать сочувственное послание этому человеку, которого не так давно собирались линчевать. Бурные дебаты были прерваны голосом первого рассказчика, выступавшего в нашем правдивом повествовании, капитана Генри Саймса:

— В этом деле есть одна подробность, которой вы, кажется, не знаете, а следовало бы знать. В тот самый день, когда она вышла за Тротта в Сан-Франциско, она побывала у доктора, и он ей сказал, что Тротт безнадежно слеп! Джентльмены, когда такая девушка губит всю свою жизнь и бросает свою профессию и порядочного малого вроде Джейка Вудса, чтобы выйти замуж за слепого без гроша в кармане, выйти из принципа, только потому, что он за неё заступился, — убей меня бог на этом самом месте, если найдётся человек,

---

<sup>1</sup> *Alias* — иначе (лат.).

который её осудит! Если сам Тротт согласен забыть кое-что неладное в её прошлом ради того, что она будет его любить и заботиться о нём, то это уж его дело! Прошу меня извинить, а только я по опыту знаю, как опасно вмешиваться в личные дела Джентльмена из Лапорта.

## ВАН-ЛИ-ЯЗЫЧНИК

**К**огда я распечатал письмо Хоп-Синга, от туда выпорхнул покрытый иероглифами листок жёлтой бумаги, который я по простоте душевной принял сначала за ярлык с пачки китайских хлопушек. Но в том же конверте находился и квадратик рисовой бумаги, чуть поменьше, с выведенными на нём тушью двумя китайскими буквами, и в этом клочке я тотчас же признал визитную карточку Хоп-Синга. Всё содержимое конверта, переведённое впоследствии слово за словом, гласило следующее:

«Двери моего дома всегда открыты для странника; налево, как войдешь, стоит чашка с рисом, направо — сладости.

Два изречения Хозяина:

Гостеприимство есть добродетель сына и мудрость предка.

Мудрец веселится в сердце своём после жатвы; он устраивает пир.

Когда странник ходит по полю, где у тебя растут дыни, не следи за ним слишком пристально: невнимание часто бывает высшей формой вежливости.

Счастье, мир и благоденствие.

*Хоп-Синг».*

Должен признаться, что, несмотря на всю прелесть этих сентенций и этой отстоявшейся мудрости, несмотря на то, что последняя истина была вполне в духе моего друга Хоп-Синга, принадлежащего к числу самых мрачных юмористов, именуемых китайскими философами, должен признаться, что даже по самому вольному переводу я совершенно не мог понять, какие непосредственные выводы следует сделать из этого послания. К счастью, я обнаружил третье вложение, написанное по-английски рукой самого Хоп-Синга. Оно гласило следующее:

«Не удостоите ли вы своим присутствием дом №... на Сакраменто-стрит, в пятницу в восемь часов вечера. Чай будет подан ровно в девять часов.

*Хоп-Синг».*

Записка разъяснила всё. Мне предстояло посещение лавки Хоп-Синга, осмотр каких-нибудь редкостных китайских вещиц и уникумов, беседа в конторе, чашка чая такого высокого качества, которого не встретишь за пределами этой священной обители, сигары и посещение китайского театра или пагоды. Такова была излюбленная программа Хоп-Синга, когда он устраивал приёмы, выступая в роли доверенного лица или управляющего К<sup>о</sup> Нинг-Фу.

В пятницу в восемь часов вечера я вошёл в лавку Хоп-Синга. Там чувствовался тот восхитительный букет чужеземных ароматов, который мне так часто приходилось вдыхать; там по-прежнему красовались причудливые вещи — длинный ряд кувшинов и глиняной посуды; там царило всё то же необычайное сочетание гро-

теска и математически точных пропорций, всё тот же извечный дух легкомыслия и хрупкости, та же дисгармония цветов, из которых каждый сам по себе был прекрасен и редкостен. Бумажные змеи в виде громадных драконов и гигантских бабочек; бумажные змеи, так хитро устроенные, что, когда пускаешь их против ветра, они издают звук, похожий на ястребиный клёкот; бумажные змеи таких размеров, что удержать их будет не под силу мальчику — такие громадины, что, глядя на них, начинаешь понимать, почему змеи считаются в Китае развлечением для взрослых; фарфоровые и бронзовые божки, такие уродливые, что к ним нельзя чувствовать ни интереса, ни симпатии; вазы со сладостями в обёртках, покрытых нравоучениями из Конфуция; шляпы, похожие на корзины, и корзины, похожие на шляпы; шелка такие лёгкие, что я даже не решаюсь назвать то невероятное количество квадратных ярдов, которое можно пропустить сквозь кольцо с мизинца, — все эти и многие другие неопишуемые вещи были мне хорошо знакомы. Я пробрался сквозь слабо освещённую лавку в контору, или приёмную, где нашёл поджидавшего меня Хоп-Синга.

Приступая к описанию Хоп-Синга, я хочу сначала посоветовать моим читателям отбросить представление о китайце из заурядной пантомимы. Хоп-Синг не носил изящных панталон с фестонами и колокольчиками, — мне никогда не приходилось встречать китайца в таких панталонах; он не имел привычки ходить с поднятыми указательными пальцами, и я ни разу не слышал, чтобы он произносил таинственные слова: «Чинг-ринг-ринг-чо»; ни разу, ни при каких обстоятельствах не видел его танцую-

шим. Вообще говоря, это был весьма солидный, внушительный и красивый джентльмен. Лицо и голова Хоп-Синга, за исключением того места, где у него росла длинная коса, были коричневого цвета и напоминали тонкий глянцевитый атлас. Глаза у него были чёрные, яркие, а веки расходились под углом в пятнадцать градусов; нос прямой, изящный, рот маленький, зубы белые и блестящие. Он носил тёмносиний шёлковый халат, а в холодные дни появлялся на улице в короткой мерлушковой кофте. Он носил также синие парчовые штаны, плотно облегающие икры и щиколотки; глядя на эту часть туалета, казалось, что Хоп-Синг забыл утром надеть брюки, но в его манерах было столько благородства, что друзья воздерживались от неуместных намёков. Хоп-Синг держался очень учтиво и вместе с тем с полной серьёзностью. Он свободно объяснялся по-французски и по-английски. Короче говоря, среди торговцев христианского вероисповедания в Сан-Франциско вряд ли можно было найти равного этому купцу-язычнику.

В конторе сидело ещё несколько человек: федеральный судья, редактор, один важный чиновник и крупный торговец. После того как мы напились чаю и попробовали сладостей из горшочка, в котором, судя по его таинственному виду, среди других, не поддающихся описанию сокровищ, могла находиться и засахаренная мышь, Хоп-Синг поднялся с места и, с важностью поманив нас за собой, стал спускаться по лесенке в подвал. Сойдя туда, мы с изумлением увидели, что подвал ярко освещён и на асфальтовом полу расставлены полукругом стулья. Учтиво предложив нам сесть, Хоп-Синг сказал:

— Я пригласил вас, чтобы показать вам представление, которого не случилось видеть ни одному иностранцу. Вчера утром в Сан-Франциско приехал придворный фокусник Ванг. До сих пор он показывал своё искусство только при дворе. Я попросил его развлечь сегодня вечером моих друзей. Он не нуждается ни в подмостках, ни в бутафории, ни в помощниках — ни в чём, кроме того, что вы видите здесь. Я попрошу вас, джентльмены, осмотреть помещение.

Мы, разумеется, осмотрели комнату. Это был самый обыкновенный подвал, какие есть во всех лавках Сан-Франциско, цементированный для предохранения товаров от сырости. Мы стучали тростями по полу, похлопывали по стенам с целью доставить удовольствие нашему хозяину. Мы ничего не имели против того, чтобы стать жертвами ловкой мистификации. Что касается меня, то я был готов поддаться любому обману, и если бы мне захотели потом объяснить эти чудеса, я, вероятно, отказался бы слушать.

Меня вполне удовлетворял тот факт, что тогда Ванг впервые давал сеанс на американской почве, но с тех пор моим читателям, должно быть, часто приходилось видеть такие представления, и я не стану докучать им подробными описаниями. Для начала Ванг пустил по комнате при помощи своего веера кусочки папиросной бумаги, которые превратились на наших глазах в обычное в таких случаях количество бабочек, продолжавших порхать до конца представления. Ясно помню, как судья хотел поймать одну бабочку, опустившуюся ему на колено, и как она ускользнула, словно живая. А в это время Ванг всё ещё помахивал веером,

и из цилиндра появлялись цыплята, апельсины, из его рукавов струились бесчисленные ярды шёлка, он заваливал весь подвал предметами, таинственным образом появлявшимися у него из рукавов, из-под земли, прямо из воздуха! Он глотал ножи, расстраивая себе пищеварение на долгие годы вперёд, выкручивал руки и ноги, вытягивался в воздухе без всякой видимой опоры. Но самой поразительной загадкой был коронный номер его программы, которого мне никогда больше не приходилось видеть. Он служит поводом для такого длинного вступления, единственным оправданием автору, написавшему этот рассказ, и зерном, из которого возникла эта правдивая история.

Ванг убрал с пола груды вещей, расчистив пространство футов в пятнадцать, и предложил нам подойти и ещё раз осмотреть место. Мы проделали это с полной серьёзностью: на взгляд и на ощупь там не было ничего, кроме цементного пола. Затем Ванг попросил одолжить ему носовой платок, и я дал свой, так как стоял ближе всех. Он взял его и положил на пол. Поверх платка Ванг расстелил большой квадратный кусок шёлка и на шёлк бросил большую шаль, почти закрывшую всё свободное от вещей пространство. Затем он сел в одном из углов этого прямоугольника и затянул какой-то монотонный напев, с мрачным видом раскачиваясь из стороны в сторону.

Мы сидели и молча ждали. Сквозь пение доносился бой городских часов и время от времени — грохот экипажей, проезжавших где-то у нас над головой. Глубочайшее внимание и насторожённость, смутный таинственный полусвет, зловеще мерцающий на уродливой фигуре какого-то китайского божества в глубине подвала,



еле уловимый запах опиума, пряностей и тягостная неизвестность ожидания пронизывали нам спину неприятным холодком, и мы поглядывали друг на друга, обмениваясь деланными, неестественными улыбками. Это неприятное ощущение достигло предела, когда Хоп-Синг медленно поднялся и, не произнеся ни слова, показал нам на самую середину шали.

Под шалью что-то лежало. Да, да, лежало что-то такое, чего раньше там не было. Сначала мы увидели лишь намёк на какие-то формы, какие-то смутные очертания; но с каждой минутой они становились всё яснее, всё заметнее. Пение не прекращалось, лицо певца уже покрылось испариной; скрытый от нас предмет постепенно обрёл такие размеры, что шаль приподнялась посередине на пять-шесть дюймов. Теперь под ней можно было безошибочно угадать контуры крохотной, но совершенной по форме человеческой фигурки, лежавшей с вытянутыми руками и ногами. Кое-кто из нас побледнел, всем стало не по себе, и, наконец, редактор нарушил тишину шуткой, которая, несмотря на всё её убожество, была встречена восторженно. В эту минуту пение оборвалось, Ванг встал, стремительным и ловким движением сдёрнул шаль и кусок шёлка и открыл нашим глазам мирно спавшего на моём носовом платке крохотного китайчонка!

Аплодисменты и восторженные крики, следовавшие за этим, должны были удовлетворить Ванга, хотя его аудитория не отличалась многочисленностью; поднятого нами шума было совершенно достаточно, чтобы разбудить ребёнка — очаровательного годовалого мальчика, похожего на купидона, вырезанного из сандало-

вого дерева. Он исчез почти так же загадочно, как и появился. Когда Хоп-Синг с поклоном вернул мне носовой платок, я спросил его, не приходится ли фокусник отцом ребёнку.

— *No sabe!*<sup>1</sup>—сказал невозмутимый Хоп-Синг, прячась за распространённую в Калифорнии испанскую формулу уклончивого ответа.

— Неужели он для каждого представления достаёт нового ребёнка? — спросил я.

— Может быть, кто знает?

— А что будет с этим?

— Всё, что вы пожелаете, джентльмены, — с учтивым поклоном ответил Хоп-Синг, — он родился здесь — вы его воспитатели.

В 1856 году калифорнийские собрания отличались двумя характерными особенностями: гости сразу же понимали намёки и на призыв к благотворительности отвечали щедростью, граничившей с мотовством. Даже самые корыстные и скупые заражались общим чувством. Я сложил свой носовой платок мешочком, бросил туда монету и молча протянул судьё. Тот спокойно добавил золотой в двадцать долларов и передал соседу; когда платок вернулся ко мне, там лежало больше ста долларов. Я завязал их и протянул Хоп-Сингу.

— Мальчику от его воспитателей.

— А как мы его назовём? — спросил судья.

Посыпались, как из мешка, всякие «Эребусы», «Ноксы», «Плутосы», «Терракоты», «Антей» и тому подобное. В конце концов мы обратились с этим же вопросом к хозяину.

— Почему не оставить ему его собственное имя? — спокойно сказал он.—Ван-Ли.—И оставил.

---

<sup>1</sup> *No sabe* — не знаю!

Итак, в пятницу вечером пятого марта 1856 года Ван-Ли родился и попал в этот правдивый рассказ.

Последние полосы «Северной звезды» от девятнадцатого июля 1865 года — единственной ежедневной газеты, выходившей в Кламат-Кантони, — только что пошли в печать; собравшись домой в три часа утра, я отложил в сторону корректуру и рукописи и обнаружил под бумагами письмо, раньше мной не замеченное. Конверт был довольно грязный, без марки, но я сразу же узнал почерк моего друга Хоп-Синга. Я быстро распечатал письмо и прочёл следующее:

«Уважаемый сэр! Не знаю, понравится ли вам податель сего письма, но если должность «ученика» в вашей редакции заключается в выполнении чисто технической работы, я думаю, он вполне отвечает всем вашим требованиям. Он весьма сообразительный, подвижной и способный мальчик, понимает по-английски лучше, чем говорит, и искупает все свои недостатки наблюдательностью и даром подражания. Нужно только раз показать ему, и он сделает так, как показано, будь это преступление или добродетельный поступок; вы один из его восприимчивых, ибо это не кто другой, как Ван-Ли, считающийся сыном фокусника Ванга, на представление которого я имел когда-то честь пригласить вас. Но, может быть, вы уже забыли про это?»

Я посылаю его в Стоктон с партией кули, оттуда он доедет железной дорогой до вашего города. Пристроив мальчика, вы окажете мне

большую любезность и, может быть, спасёте его от покушений юных представителей вашей христианской и высоко цивилизованной расы, которые посещают просвещённые школы Сан-Франциско.

Ван-Ли приобрёл кое-какие не совсем обычные повадки и привычки, виной этому профессия Ванга, с которой он был связан до тех пор, пока не подрос, и отцу уже нельзя было прятать его в цилиндр или вытаскивать из рукава. Деньги, оставленные вами, пошли на его образование; он одолел Троекнижие, но, я думаю, это не принесло ему особенной пользы. Конфуция Ван-Ли знает слабо, а о Менци<sup>1</sup> не имеет ни малейшего понятия. Отец мало уделял ему внимания, и, может быть, поэтому мальчик слишком часто общался с американскими детьми.

Я мог бы значительно раньше ответить на ваше письмо почтой, но решил, что лучше будет послать с ответом самого Ван-Ли.

Уважающий Вас

*Хоп-Синг».*

Таков был ответ Хоп-Синга на моё письмо. Но где «податель сего»? Каким образом письмо было доставлено? Я сейчас же вызвал выпускающего, наборщиков и посыльного, но толку от них не добился; они не знали, как письмо попало сюда, не имели понятия о том, кто его принёс. Через несколько дней ко мне явился А-Ри, китаец из прачечной.

— Твоя надо ученик? Есть ученик; моя нашёл.

---

<sup>1</sup> Менций, или Мен-Зе — китайский философ, ученик Конфуция.

Он вернулся через несколько минут в обществе смышлёного на вид китайчонка лет десяти, внешность и сообразительность которого мне так понравились, что я тут же нанял его. Договорившись об условиях, я спросил, как его зовут.

— Ван-Ли, — ответил мальчик.

— Что? Так это тебя послал Хоп-Синг? Чего же ты раньше не пришёл и как ты доставил письмо?

Ван-Ли посмотрел на меня и рассмеялся.

— Моя кинул в окно.

Я ничего не понял. Он взглянул на меня в замешательстве, потом выхватил письмо и сбежал вниз по лестнице. Через несколько секунд письмо, к моему изумлению, влетело в окно, описало в воздухе два круга и, словно птица, тихо опустилось на стол. Не успел я притти в себя, как Ван-Ли появился в комнате, улыбнулся, посмотрел сначала на письмо, потом на меня и проговорил:

— Вот так, Джон, — и погрузился в солидное молчание. Я ничего не сказал, но понял это как его первый шаг на служебном поприще.

К сожалению, следующая выходка Ван-Ли не имела такого успеха. Один из наших постоянных разносчиков заболел; не оставалось ничего другого, как назначить на его место Ван-Ли. Во избежание ошибок накануне вечером ему показали маршрут, а на рассвете нагрузили пачкой газет для подписчиков. Ван-Ли вернулся через час в прекрасном настроении и с пустой сумкой. Он утверждал, что газеты доставлены по адресам.

К восьми часам утра в редакцию начали стекаться возмущённые подписчики. Газеты они получили, но как? Скомканные в тугой шар величиной с пушечное ядро, брошенное с разма-

ху в окно спальни. Тем, кто уже встал с постели и расхаживал по комнате, газета была пущена прямо в физиономию, точно бейсбольный мяч; кое-кто получил номера по четвертушкам, заткнутым в оконные рамы; некоторые обнаружили их в каминной трубе, пришипленными к дверям, брошенными в чердачные окна, пропущенными в виде длинных лент сквозь замочные скважины, в вентиляторах, в кружках, куда молочник выливал утром молоко.

Один подписчик, который некоторое время поджидал у дверей редакции в расчёте на личную беседу с Ван-Ли (в эту минуту сидевшим под замком у меня в спальне), рассказал мне со слезами ярости на глазах, что в пять часов утра его разбудили ужасные вопли под самым окном; вскочив в испуге с кровати, он был поражён неожиданным появлением «Северной звезды», туго скатанной и согнутой в виде бумеранга, который влетел в окно, описал по комнате несколько дьявольских кругов, сшиб лампу, ударил ребёнка по лицу, «съездил его (подписчика) по скуле», затем вылетел из окна и в изнеможении опустился на траву.

До самого вечера негодующие подписчики приносили в редакцию комки и клочки грязной бумаги, которые были не чем иным, как сегодняшним номером «Северной звезды». Великолепная передовица «Неиспользованные богатства округа Гумбольд», которую я состряпал накануне вечером, намереваясь перевернуть торговый баланс будущего года и разорить гавани Сан-Франциско, погибла для читателей.

В течение следующих трёх недель мы сочли за лучшее держать Ван-Ли в типографии и поручали ему только механическую работу. Здесь он проявил поразительные способности и лов-

кость, заслужив даже расположение наборщиков и выпускающего, которые сначала относились к посвящению Ван-Ли в тайны их профессии, как к событию, чреватому серьёзными политическими осложнениями. Ван-Ли без всякого труда научился чисто набирать — здесь ему помогала изумительная ловкость пальцев, а незнание языка привело к тому, что он работал механически, подтверждая типографскую аксиому, гласившую, что из наборщика, который следит за смыслом оригинала, не выйдет хорошего работника. Ничего не подозревая, он набирал длинные поношения, направленные наборщиками по его адресу, вешал их у своей кассы на гвоздике вместе с короткими изречениями вроде: «Ван-Ли — бесовское отродье», «Ван-Ли — монгольский прохвост», и приносил всё это мне на корректуру, радостно сверкая зубами, с довольным блеском в тёмных, как смородина, глазах.

Вскоре, однако, Ван-Ли научился мстить своим коварным преследователям. Помню один такой случай, когда его месть чуть было не причинила мне серьёзных неприятностей. Фамилия одного из наших выпускающих была Уэбстер; Ван-Ли быстро запомнил её и научился распознавать. Это произошло во время одной политической кампании; красноречивый и темпераментный полковник Старботл из Сискью произнёс блестящую речь, отчёт о которой должен был появиться в «Северной звезде». Заканчивая своё выступление в весьма возвышенных тонах, полковник Старботл сказал: «На языке божественного Уэбстера<sup>1</sup> я позволю себе повто-

---

<sup>1</sup> Даниель Уэбстер — видный американский политический оратор описываемого периода.

ритель...» — дальше следовала цитата, которую я забыл. Случилось так, что Ван-Ли попались на глаза уже просмотренные гранки, в которых он заметил фамилию своего главного преследователя, и вообразил, конечно, что цитата принадлежит ему. Как только форма была готова, Ван-Ли воспользовался отсутствием Уэбстера и, выкинув цитату, вставил на её место тонкую свинцовую пластинку того же размера, с вырезанными на ней китайскими буквами, из которых, как я имею основание думать, складывались фразы, содержавшие откровенное и циничное поношение всего рода Уэбстеров за тупость и наглость, и непомерно восхвалявшие самого Ван-Ли.

На следующее утро в газете появилась полностью речь полковника Старботла, из которой явствовало, что «божественный Уэбстер» раз в жизни выразил свои мысли на безукоризненном, но совершенно непонятном китайском языке. Ярость полковника Старботла не знала границ. Я до сих пор помню, как этот превосходный человек вошёл ко мне в кабинет и потребовал, чтобы мы напечатали его опровержение.

— Мой дорогой сэр, — сказал я, — неужели вы решитесь дать свою подпись под заявлением, что мистер Уэбстер никогда ничего подобного не писал? Неужели вы возьмёте на себя смелость утверждать, что всем известный эрудит мистер Уэбстер не знал китайского языка? Может быть, вы хотите предоставить нашим читателям полный перевод этой фразы и дать честное слово джентльмена, что покойный мистер Уэбстер не является её автором? Если вы настаиваете, сэр, я готов поместить ваше опровержение.



Полковник Старботл не стал настаивать и вышел с негодующим видом.

Наш Уэбстер отнёсся к этому происшествию гораздо хладнокровнее. К счастью, он не знал, что в течение двух следующих дней китайцы из прачечных, из кухонь и с приисков посматривали на двери редакции с сияющими язвительным восторгом лицами и что прачечные на берегу потребовали триста добавочных экземпляров «Звезды». Он видел только, как Ван-Ли вдруг начинает корчиться от смеха по нескольку раз в день, и приводил его в чувство пинками. Через неделю после этого я вызвал Ван-Ли к себе в кабинет.

— Ван,—сказал я серьёзным тоном,—я хочу получить от тебя — исключительно ради удовлетворения собственной любознательности — перевод тех китайских фраз, которые мой божественный, высокоодарённый соотечественник произнёс по поводу одной политической кампании.

Ван-Ли пристально посмотрел на меня, и вдруг в его чёрных глазах промелькнула еле уловимая усмешка. Потом он ответил не менее серьёзным тоном:

— Мистел Уэбстел говорила: «Моя пузо болит от китайчонка. Моя тошнит от китайчонка» — что, как мне думается, было истиной.

Боюсь, что я подчёркиваю только одну сторону характера Ван-Ли, к тому же не лучшую. Как он рассказывал, жизнь у него была нелёгкая. Детства Ван-Ли почти не видел — не помнил ни отца, ни матери. Воспитал его фокусник Ванг. Первые семь лет своей жизни он только и делал, что выскакивал из корзин, появлялся из шляп, карабкался по лестницам, ломал тело акробатическими упражнениями. Его

окружала атмосфера плутовства и обмана; он привык смотреть на человека как на кругом одураченного простофилю; короче говоря, умей Ван-Ли думать, из него вышел бы скептик, будь он немного постарше, из него вышел бы философ. Пока что это был маленький бесёнок. К тому же бесёнок добродушный, моральная природа которого ещё крепко спала, бесёнок, вырвавшийся на волю, способный ради разнообразия и на хороший поступок. Я не знаю, была ли у него какая-нибудь духовная жизнь; он был очень суеверен: всюду таскал с собой уродливого фарфорового божка, которого то всячески поносил, то старался задобрить. Он был слишком умён, чтобы воровать или лгать. До того минимума дисциплины, который у него имелся, он дошёл собственным разумом.

Мне думается, что характер у Ван-Ли был не жестокий, хотя добиться от него выражения каких-нибудь чувств казалось почти невозможным; я уверен, что он привязывался к людям, которые хорошо к нему относились. Каким бы Ван-Ли стал при более благоприятных обстоятельствах, — не попади он в зависимость к загруженному работой, живущему на убогое жалование журналисту, — трудно сказать; я знаю только, что моя редкая, скупая ласка, которую я уделял ему под влиянием минуты, принималась с благодарностью. Он был очень честен и терпелив — качества редкие в рядовом американском слуге. В моём присутствии Ван-Ли держался «печально и покорно», как Мальволио<sup>1</sup>; я вспоминаю только один-единственный случай, когда он проявил нетерпение, и то при

---

<sup>1</sup> Мальволио — трагикомический персонаж комедии Шекспира «Двенадцатая ночь».

особых обстоятельствах. Я имел привычку брать Ван-Ли к себе домой после работы, рассчитывая, что, может быть, придётся послать его обратно в редакцию, если к номеру понадобятся добавления или мою редакторскую голову осенит какая-нибудь счастливая мысль. Однажды вечером я строчил что-то, засидевшись позднее того часа, когда Ван-Ли обычно уходил домой, и совершенно забыл, что он сидит на стуле у двери; вдруг мне послышался голос, жалобно сказавший нечто вроде «чи-ли».

Я обернулся и сердито посмотрел на него

— Что ты говоришь?

— Моя сказала: «чи-ли».

— Ну и что же? — нетерпеливо спросил я.

— Твоя знает «здлаивствуй, Джон»?

— Да.

— Твоя знает «площай, Джон»?

— Да.

— Ну вот, «чи-ли» — то же самый.

Я прекрасно понял его. «Чи-ли» значило примерно то же самое, что и «прощай», а Вану не терпелось уйти домой. Но озорство, которого во мне, боюсь, было не меньше, чем в нём, подталкивало пропустить этот намёк мимо ушей. Я пробормотал, что не понимаю его, и снова занялся своим делом. Через несколько минут я услышал, как деревянные башмаки Ван-Ли трогательно застучали по полу. Я взглянул на него. Он стоял у двери.

— Твоя не знает «чи-ли»?

— Нет, — строго ответил я.

— Твоя знает «польшой дулак»? — то же самый!

И, выпалив такую дерзость, Ван-Ли убежал. Однако на следующее утро он был попрежнему кроток и терпелив, а я не напоминал ему про

вчерашнюю выходку. Решив, должно быть, пойти на мировую, он принялся чистить всю мою обувь — чего никогда от него не требовалось, — включая жёлтые домашние туфли из оленьей кожи и высоченные сапоги для верховой езды; успокоение нечистой совести заняло у него два часа.

Я уже говорил о честности Ван-Ли, приписывая это качество скорее его интеллекту, чем принципиальности, но теперь мне вспоминаются два исключения из этого правила. Я захотел достать свежих яиц, чтобы как-нибудь разнообразить неудобоваримые меню приискового городка, и, зная, что соотечественники Ван-Ли любят разводить кур, обратился с этой просьбой к нему. Он стал приносить мне яйца каждое утро, но получить плату отказывался, уверяя, что хозяин не хочет продавать их, — поразительный случай самоотверженности, потому что каждое яйцо стоило тогда полдоллара. Однажды утром, во время завтрака, ко мне явился мой сосед Форстер и, воспользовавшись случаем, начал жаловаться на свою горькую судьбину: его куры за последнее время или совсем перестали нестись, или ходят в кустарник и кладут яйца там. Ван-Ли, присутствовавший при нашем разговоре, продолжал хранить покорное молчание. Как только сосед ушёл, он повернулся ко мне, давась от смеха:

— У Фолстела кулица — у Ван-Ли кулица — то же самый.

Вторая его выходка была гораздо серьезнее и смелее. В то время почту доставляли очень нерегулярно, и Ван-Ли часто приходилось слышать мои жалобы на запоздалую доставку писем и газет. Придя однажды в редакцию, я с удивлением заметил, что мой стол завален, оче-

видно, только что полученными письмами, которые все были адресованы другим лицам. Я повернулся к Ван-Ли, взиравшему на них с чувством спокойного удовлетворения, и потребовал объяснить, что это значит. К моему ужасу он показал на пустую почтовую сумку, валявшуюся в углу, и ответил:

— Постальона сказала: «Нет письма, Джон, нет письма, Джон!» Постальона обманывает. Постальона плохая. Моя вчела достала письма— то же самый!

К счастью, было ещё рано; почту не успели разнести; мне пришлось спешно переговорить с почтмейстером, и дерзкую попытку Ван-Ли ограбить почту Соединённых Штатов Америки удалось в конце концов искупить покупкой новой почтовой сумки; таким образом этот случай не получил огласки.

Если бы даже я не любил моего маленького слугу-язычника, то одного чувства долга по отношению к Хоп-Сингу было достаточно, чтобы заставить меня взять Ван-Ли в Сан-Франциско, куда я возвращался после двухлетней работы в «Северной звезде». Не думаю, чтобы он испытывал удовольствие от этой перемены. Я объяснял его ощущения страхом перед людными улицами (когда Ван-Ли приходилось идти куда-нибудь по моему поручению через весь город, он выбирал окольную дорогу и шёл окраинами), нежеланием подчиняться дисциплине англо-китайской школы, куда я хотел отдать его, любовью к свободной, бродяжьей жизни на приисках, наконец просто упрямством! А то, что здесь могли иметь место какие-то суеверные предчувствия, долгое время не приходило мне в голову.

И всё же вышло так, что возможность, кото-

рую я давно ждал и на которую втайне надеялся, наступила—возможность окружить Ван-Ли мягким, смиряющим влиянием, обеспечить ему такую жизнь, которая пробудила бы в нём добрые чувства, не пробуждённые ни моими поверхностными заботами, ни моей редкой лаской. Ван-Ли поступил в школу китайского миссионера, умного и доброго священника, который заинтересовался мальчиком и — больше того — верил в него. Я поселил Ван-Ли в семье одной вдовы, жившей с весёлой, хорошенькой дочкой, двумя годами моложе его. И этому жизнерадостному, простодушному ребёнку удалось затронуть те глубины в натуре мальчика, о существовании которых никто и не подозревал, — удалось пробудить в нём отзывчивость, которую до сих пор не могли пробудить ни требования окружающей жизни, ни богословская этика.

Эти несколько месяцев, озарённые обещаниями, исполнения которых мы так и не дождались, принесли, должно быть, много счастья Ван-Ли. Он боготворил свою маленькую подругу почти суеверно, но без капризов, которыми досаждал фарфоровому языческому божку. Ему доставляло наслаждение провожать её в школу, нести её книжки — обязанность, всегда сопряжённая для Ван-Ли с опасностью, которой грозили ему встречи с его маленькими арийскими братьями.

Он дарил ей замечательные игрушки, вырезал из моркови и репы изумительные розы и тюльпаны. Делал цыплят из дынных семечек, мастерил веера и змеев и с особенным искусством вырезал из бумаги кукольные платья. А она, в свою очередь, играла и пела ему, обучала его множеству всяких ухищрений и тон-

костей, известных только девочкам, подарила ему жёлтую ленточку в косу, считая, что она больше подходит к его цвету лица, читала вслух, подмечала, когда он действовал самостоятельно или совершал похвальные поступки, наперекор всем обычаям повела его с собой в воскресную школу — и восторжествовала, как маленькая женщина. Мне бы хотелось ещё добавить, что ей удалось обратить его в христианскую веру и заставить отказаться от своего фарфорового идола, но я рассказываю правдивую историю, а та маленькая девочка удовлетворилась тем, что надела Ван-Ли добрыми чувствами, не дав ему заметить происшедших в нём перемен. И так они жили тихо и мирно — маленькая христианка, носившая на своей белой круглой шейке блестящий крестик, и смуглолицый маленький язычник, прятанный на груди уродливого фарфорового божка.

Из этого года, богатого событиями, два дня в Сан-Франциско запомнят надолго, — те два дня, когда толпа граждан города Сан-Франциско напала на чужестранцев и убила их, невооружённых, беззащитных, только потому, что те принадлежали к другой расе, религии и цвет кожи у них был другой, и ещё потому, что они работали за ту плату, какую удавалось получить. Нашлись такие робкие общественные деятели, которые при виде всего этого решили, что настал конец света; нашлись и видные государственные мужи, — я стыжусь назвать их здесь по именам, — которые начали подумывать, а не содержат ли ошибок пункты Конституции, гарантирующие гражданские и религиозные свободы всем гражданам страны и иностранцам? Но нашлись и такие смельчаки, которых нелегко было запугать, и в течение суток мы

добились, чтобы робкие общественные деятели могли ломать руки в безопасности, а видные государственные мужи могли высказывать свои сомнения, не причиняя другим вреда. И в разгар всех этих событий я получил от Хоп-Синга записку с просьбой немедленно зайти к нему.

Его лавка была закрыта и охранялась от возможных нападений погромщиков сильным отрядом полиции. С обычным для него невозмутимым спокойствием Хоп-Синг впустил меня в закрытую решёткой дверь, но я заметил, что сегодня он ещё серьёзнее, чем всегда. Не говоря ни слова, Хоп-Синг взял меня за руку и провёл в конец комнаты к лестнице, по которой мы спустились в подвал. Подвал был слабо освещён, но я увидел, что на полу лежит что-то, покрытое шалью. Когда я подошёл, Хоп-Синг быстро сдёрнул шаль и открыл мёртвого язычника Ван-Ли!

Мёртвого, уважаемые друзья, мёртвого! Побитого камнями на улицах Сан-Франциско в год от рождества Христова 1869-й толпой мальчишек и учеников христианской школы!

Благоговейно положив руку ему на грудь, я нащупал под халатом какие-то осколки. Я вопросительно посмотрел на Хоп-Синга. Он просунул руку в складки шёлка и вынул из-под него что-то с горькой улыбкой, которую мне впервые пришлось увидеть на лице этого джентльмена-язычника.

Это был фарфоровый божок Ван-Ли, разбитый камнем, брошенным рукой христианского изувера!



---

## СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ МИСТЕРА ДЖОНА ОКХЭРСТА

**О**н всегда думал, что в это дело вмешалась судьба. Несомненно, ничто так не противоречило его привычкам, как появление в тот летний день на площади в семь часов утра. В это время года, да, пожалуй, в любое время года, в любом другом месте раньше двух часов дня редко кто мог увидеть его бледное лицо. Впоследствии, разбирая этот случай в свете многих превратностей, которыми была полна его жизнь, он, со свойственной его профессии склонностью пофилософствовать, решил, что в это дело вмешалась сама судьба.

Всё же я, как беспристрастный повествователь, считаю своим долгом сказать, что появление мистера Окхэрста в том месте, о котором идёт речь, объяснялось весьма просто. Ровно в половине восьмого, когда банк оказался в выигрыше, равнявшемся двадцати тысячам долларов, мистер Окхэрст встал из-за игорного стола, освободив место надёжному помощнику, и спокойно удалился, не привлекая к себе взглядов молчаливых, сосредоточенных игроков, склонившихся над столом. Но, войдя в свою роскошную спальню на другом конце коридора, он был несколько поражён, увидев, что солнце льётся в

не закрытое с вечера окно. Необычайная прелесть утра, а может быть, новизна какой-то мысли поразила его, и, протянув руку к шторе, он вдруг остановился. Потом взял со стола шляпу и, спустившись по задней лестнице, вышел на улицу.

Люди, ходившие по городу в этот ранний час, принадлежали к тому классу, которого мистер Окхэрст совершенно не знал. Это были молочники и торговцы, разносившие свой товар, мелкие лавочники, открывавшие свои лавки, горничные, подметавшие ступеньки подъездов; изредка попадался и ребёнок. Мистер Окхэрст разглядывал их с холодным любопытством, вероятно, совершенно чуждым того цинического презрения, с которым он обычно посматривал на более привилегированных представителей человеческого рода, бывавших в его обществе. Больше того, я думаю, что ему вовсе не были неприятны восхищённые взгляды, которыми скромные женщины провожали его красивое лицо и фигуру, бросавшиеся в глаза даже в этой стране, где красивые мужчины не редкость. Весьма возможно, что этот завзятый авантюрист, гордившийся своим обособленным положением в обществе, встретил бы ледяным равнодушием внимание какой-нибудь изящной леди, однако восхищённый взгляд бежавшей за ним оборванной маленькой девочки вызвал слабый румянец на его матово-бледном лице. В конце концов он отослал девочку прочь, дав, однако, ей возможность убедиться, что мистер Окхэрст человек очень щедрый,— все представительницы её пола, наделённые великодушием и проникательностью, рано или поздно убеждались в этом. Девочка заметила также то, чего, вероятно, ни одна женщина до сих пор не знала: смелые, тёмные глаза этого

элегантного джентльмена на самом деле были карие и даже с чуть сероватым оттенком.

Внимание мистера Окхэрста привлёк маленький садик перед белым коттеджем, стоявшим в переулке. В садике росли розы, гелиотроп и вербена — цветы, хорошо знакомые ему в форме букетов, — весьма разорительной и более портативной, — но никогда ещё не казавшиеся такими прекрасными. Возможно, что виной этому была свежая роса, покрывавшая цветы, возможно, мистеру Окхэрсту нравилось видеть их несорванными, но он восхищался ими не как будущим подношением очаровательной и высокоталантливой мисс Этелинде, выступавшей тогда в Варьетэ, как она уверяла, исключительно ради мистера Окхэрста, не как подарком, предназначенным для обольстительной мисс Монморисси, с которой мистер Окхэрст должен был ужинать сегодня вечером, — он восхищался ими ради себя, ради них самих. Однако мистер Окхэрст оставил садик, вышел на открытую площадь и, увидев под топодем скамейку, смахнул с неё пыль носовым платком и сел.

Утро было чудесное. Кругом стояла такая тишина, такое спокойствие, что шелест листы звучал, словно глубокое дыханье просыпающихся сикомор, а слушая лёгкий шорох их ветвей, можно было подумать, что деревья расправляют свои онемевшие, возвращающиеся к жизни члены. Где-то там, на фоне неба, вырисовывалась Сиерра, далёкая и казавшаяся отсюда лишённой цвета, такая далёкая, что даже солнце, потеряв всякую надежду добраться до неё, с безрассудной расточительностью заливало светом окрестность, так что всё кругом переливалось и отсвечивало белизной в его лучах. В совершенно не свойственном ему порыве мистер Ок-

хэрст снял шляпу и откинулся на спинку скамьи, подняв лицо к небу. Стайка птиц, весьма критически посматривавших на него с ветвей над самой скамейкой, принялась горячо обсуждать возможность каких-либо недобрых намерений со стороны этого человека. Две-три птицы расхрабрились, видя, что он сидит неподвижно, и прыгали у самых его ног, пока их не спугнул звук колёс, катившихся по усыпанной гравием дорожке.

Повернув голову в ту сторону, мистер Окхэрст увидел человека, который медленно приближался к нему, толкая перед собой весьма странного вида экипаж с полулежавшей в нём женщиной. Сам не зная почему, мистер Окхэрст сейчас же подумал, что коляска эта — изобретение и собственноручное изделие того, кто её вёз; на эту мысль его натолкнула отчасти необычность экипажа, отчасти сила и ловкость лежавшей на его спинке руки, отчасти гордость и довольство собой, которые чувствовались в том, как этот человек управлял им.

Потом мистер Окхэрст увидел, что лицо мужчины ему знакомо. Великолепная память на лица тех, с кем ему приходилось иметь дело по своей профессии, сразу же подсказала: «Фриско, салун «Полька». Проиграл недельный заработок. Кажется, долларов семьдесят; ставил на красное. Больше не был ни разу». Однако спокойные глаза и бесстрастное лицо мистера Окхэрста не выдали этих мыслей, когда он повернулся к незнакомцу, который, напротив, вспыхнул, смутился и, невольно замедлив шаги, остановил коляску с её очаровательной пассажиркой около Окхэрста.

Имея в виду ту роль, которую эта леди займёт в моём правдивом повествовании, вряд ли

будет справедливо давать её портрет сейчас, если даже допустить, что эта задача мне под силу. Общество высказывало на этот счёт довольно противоречивые мнения. Покойный полковник Старботл, из богатого опыта которого в отношениях с прекрасным полом я и раньше черпал много полезных сведений, к сожалению, умалял её очарование: «Калека, жёлтая, что твой лимон, больная женщина, глаза красные, как у кролика. Уж эти мне одухотворённые натуры! Тощая — кожа да кости!»

С другой стороны, представительницы её пола удостаивали эту леди весьма лестных в своей пренебрежительности отзывов. Мисс Селестина Гауард, одна из прима-балерин Варьетэ, в позднейшие годы дала ей прозвище, построенное на аллитерации: «горбоносая гадюка». Мадмуазель Бримборьон, со своей стороны, припомнила, что она не раз говорила «мистеру Джеку»: «Эта женщина будет вас погубить».

Но мистер Окхэрст, чьи впечатления нам важнее всего, увидел перед собою только бледную, худенькую, большеглазую женщину, долгие страдания, одиночество и девическая застенчивость которой возвышали её над сопутствовавшим ей человеком. Непорочность чувствовалась даже в складках её опрятного платья, в полной вкуса и изящества отделке, и мистер Окхэрст почему-то решил, что она сама придумала фасон платья и сама сшила его, так же как и коляска эта была, очевидно, работы сопровождавшего её человека. Рука женщины, пожалуй, чересчур худая, но изящная, узкая в кисти и с тонкими пальцами, лежала на бортике коляски рядом с сильной рабочей рукой её спутника.

Коляска наткнулась на какое-то препятствие, и мистер Окхэрст встал, чтобы помочь. Пока

они приподнимали наскочившее на камень колесо, женщине пришлось опереться на его руку, и на мгновение эта тонкая рука задержалась у него в ладони, легкая и прохладная, как снежинка, и потом, — так ему показалось, — как снежинка, растаяла. Наступило молчание, потом завязался разговор, и дама время от времени застенчиво вставляла в него словечко.

Оказалось, что они муж и жена. Что два года она болела ревматизмом и потеряла способность двигаться. Что до последнего времени она была прикована к постели, пока её мужу — он хороший мастер — не пришла в голову мысль сделать эту коляску. Он вывозит её на прогулку каждое утро до работы, — это у него единственные свободные часы, — кроме того, в это время они меньше привлекают к себе внимание. Они обращались ко многим докторам, но безуспешно. Им советовали ехать на серные источники, но это не по средствам. Мистер Декер — муж — скопил на поездку восемьдесят долларов, но в Сан-Франциско его обокрали, мистер Декер такой рассеянный! (Догадливому читателю, конечно, не нужно разъяснять, что это рассказывает дама.) Больше им уже не удавалось скопить такую сумму, и они оставили мысль о поездке. Как это ужасно, когда у вас крадут деньги! Ведь правда?

Муж стоял багровый, но лицо мистера Окхэрста сохраняло спокойствие и невозмутимость; согласившись с её словами, он шёл рядом с коляской до тех пор, пока они не поровнялись с тем садиком, которым он недавно любовался. Здесь мистер Окхэрст попросил их остановиться и, подойдя к домику, огорошил его владельца, предложив неслыханно высокую плату за разрешение нарвать цветов по своему выбору.

Вернувшись вскоре с охапкой роз, гелиотропа и вербены, он бросил их на колени больной. Она с детским восторгом нагнулась над цветами, а мистер Окхэрст воспользовался этим и отвёл мужа в сторону.

— Может быть,— начал он тихо и без тени раздражения в голосе, — может быть, вы хорошо сделали, что солгали ей. Теперь скажите, что вор пойман и вы получили деньги обратно.— Мистер Окхэрст спокойно сунул в широкую ладонь растерявшегося мистера Декера четыре золотых монеты по двадцати долларов каждая. — Так и скажите или выдумайте что-нибудь ещё, только не говорите правды. Дайте слово, что не скажете!

Тот дал слово. Мистер Окхэрст спокойно вернулся к маленькой коляске. Больная всё ещё с увлечением перебирала цветы, и когда она подняла на мистера Окхэрста глаза, он увидел, что её блёклые щёки словно отняли у роз их яркие краски, а глаза — росистую свежесть. Но в эту минуту мистер Окхэрст приподнял шляпу и, не дав времени поблагодарить себя, удалился.

К величайшему сожалению, я должен сказать, что мистер Декер не сдержал слова. В тот же вечер в простоте душевной и в порыве самопожертвования он, как все любящие мужья, возложил на семейный алтарь не только самого себя, но и своего друга и благодетеля. Однако справедливость требует добавить, что мистер Декер с жаром говорил о великодушии мистера Окхэрста и, что очень характерно для людей его положения, восторгался загадочной славой и чудовищной расточительностью игрока.

— А теперь, Элси, милочка, скажи, что ты прощаешь меня, — закончил мистер Декер.

опускаясь на одно колено рядом с кушеткой, на которой лежала жена. — Ведь я хотел сделать лучше. Ведь только для тебя, дорогая, я поставил тогда во Фриско все деньги на карту. Рассчитывал на большой выигрыш, думал, что хватит на поездку, да ещё останется тебе на новое платье.

Миссис Декер улыбнулась и погладила мужа по руке.

— Прощаю, Джо, милый, — сказала она, все ещё улыбаясь и устремив рассеянный взгляд на потолок. — Правда, тебя следовало бы высечь за эту ложь и за то, что ты заставил меня наговорить таких вещей, скверный мальчик. Ну, хорошо, довольно об этом. Если ты будешь теперь паинькой и дашь мне эти розы, так и быть, я тебя прощаю.

Она взяла ветку, поднесла розы к лицу и вскоре проговорила сквозь лепестки:

— Джо!

— Что, милочка?

— Ты думаешь, этот... мистер — как там его, Джек Окхэрст — вернул бы тебе деньги, не наговори я таких глупостей?

— Да.

— Если бы он даже не видел меня?

Мистер Декер взглянул на жену. Она ухитрилась закрыть себе розами всё лицо; видны были только одни глаза, в которых поблёскивал опасный огонёк.

— Нет! Это всё ты, Элси, только ради тебя он и решился на такой поступок.

— Ради несчастной калеки?

— Ради очаровательной, маленькой, прелестной, хорошенькой Элси — моей маленькой жёнушки! Ну, разве он мог устоять?

Прижимая розы к лицу, миссис Декер дру-



гой рукой ласково обняла мужа за шею. Потом принялась бормотать сквозь цветы нежные и нелепые слова:— Милый глупышка, Джо. Медвежонок мой косолапый.— Но, право, будучи повествователем, строго придерживающимся только одних существенных фактов, я не считаю нужным приводить здесь дальнейшие слова этой маленькой женщины и умолкаю из уважения к чувствам моих незамужних читательниц.

Тем не менее, подъехав на следующее утро к площади, миссис Декер проявила лёгкую, мало объяснимую нервозность и вскоре попросила мужа отвезти её домой. Она чрезвычайно удивилась, встретив на обратном пути мистера Окхэрста, и, не узнав его сразу, даже спросила мужа, правда ли, что это вчерашний незнакомец. Её обращение с ним представляло резкий контраст с дружеским приветствием, которым муж встретил мистера Окхэрста.

Мистер Окхэрст не преминул заметить это. «Муж всё рассказал, и она теперь презирает меня», — подумал он, роковым образом упуская из виду половину тех причин, на которых основывается поведение женщин, а эту ошибку совершают даже самые мудрые представители мужского пола.

Мистер Окхэрст не стал долго задерживаться и, спросив у мужа, где тот работает, с достоинством приподнял шляпу и, не взглянув на даму, удалился. Простодушного мастера изумила очаровательная непоследовательность жены, которая, несмотря на то, что встреча была явно натянутой и неприятной, сейчас же пришла в хорошее расположение духа.

— А ты сурово с ним обошлась. Пожалуй, чересчур сурово, а, Элси? — сказал он укориз-

ненно. — Как бы он не догадался, что я нарушил своё обещание.

— Да?.. Ты думаешь? — равнодушно ответила Элси.

Мистер Декер обошёл коляску и повернулся лицом к жене.

— Ты сейчас совсем как важная дама, которая разъезжает по Бродвею в собственном экипаже, Элси, — сказал он. — Я ещё никогда не видел тебя такой весёлой и хорошенькой!

Через несколько дней владелец серных источников в Сан-Изабелле получил следующее письмо, написанное хорошо знакомым ему изящным почерком мистера Окхэрста:

«Дорогой Стив!

Я обдумал твоё предложение купить пай Николса и решил согласиться. Но мне кажется, что затраты оправдают себя только в том случае, если ты позаботишься об удобствах, имея в виду гостей из высшего общества, то есть моих клиентов. Необходимо расширить главный корпус и построить ещё два-три коттеджа. Посылаю тебе строителя, пусть сразу же принимается за работу. С ним едет его больная жена, заботься о них так, как если бы это был кто-нибудь из нас.

Возможно, что после скачек я сам к вам приеду посмотреть, как идут дела; но игры в этом сезоне вести не буду.

Всегда готовый к услугам

*Джон Окхэрст».*

Критику вызвало только последнее замечание

— Я понимаю, — сказал брат мистера Окхэрста по профессии, мистер Гемлин, которому письмо было показано. — Я понимаю, почему Джек

выкладывает такие деньги на постройку — это дело верное и со временем даст хорошие барыши, если он будет наезжать сюда почаще. Но почему не вести игру в этом сезоне и упускать случай вернуть часть денег, пущенных в оборот, — вот чего я не могу понять. Любопытно, — сказал он в глубоком раздумьи, — что он такое затеял?

Последний сезон был весьма удачным для мистера Окхэрста и, следовательно, весьма разорительным для нескольких членов законодательного собрания, судей, полковников и некоторых других лиц, имевших удовольствие, — правда, быстропроходящее, — пользоваться по ночам обществом мистера Окхэрста. Несмотря на это, жизнь в Сакраменто стала для него теперь пресной. За последнее время он пристрастился к ранним прогулкам, и это казалось его друзьям мужского и женского пола настолько необычным и поразительным, что они сгорали от любопытства. Две-три представительницы последней категории друзей посылали за ним соглядатаев, но в результате слежки удалось узнать лишь то, что мистер Окхэрст приходил на площадь, садился на несколько минут на одну и ту же скамью и, ни с кем не повидавшись, возвращался обратно. Таким образом версия о причастности к этому делу женщины отпала сама собой. Несколько суеверных джентльменов одной с ним профессии считали, что это, должно быть, «примета». Кое-кто попрактичнее уверял, что мистер Окхэрст обдумывает там картёжные комбинации.

После скачек в Мэрисвилле мистер Окхэрст уехал в Сан-Франциско; потом вернулся обратно, но через несколько дней его уже видели в Сан-Хозе, Санта-Крузе и Оклэнде. По словам тех, кто встречался с ним в этих местах, мистер

Окхэрст был чем-то обеспокоен, нервничал, а это противоречило его обычной невозмутимости и флегме. Полковник Старботл подчёркивал тот факт, что в клубе в Сан-Франциско Джек отказался метать банк.

— Рука нетвёрдая, сэр, верьте моему слову, отвыкает от работы — пропади он пропадом!

Из Сан-Хозе мистер Окхэрст выехал по направлению к Орегону на дорогих лошадях, в экипаже, но, добравшись до Стоктона, внезапно свернул в сторону и спустя четыре часа появился уже верхом в кэньоне около сан-изабеллских горячих серных источников.

Сан-Изабелл лежал в очаровательной треугольной долине у подножия трёх пологих гор, поросших густым сосновым лесом, причудливыми зарослями мадронь и манзанита. Сквозь листву там и сям мелькали примостившиеся у склона горы домики и длинная веранда отеля; виднелись белые, словно игрушечные, коттеджи. Мистер Окхэрст не мог считаться любителем природы, но этот вид вызвал у него то же необычное и приятное ощущение, как и первая утренняя прогулка в Сакраменто. Навстречу ему стали попадаться коляски с нарядно одетыми женщинами, и в холодном калифорнийском пейзаже появилось что-то человечески-тёплое и яркое. Потом открылась вся длинная веранда отеля, блиставшая туалетами разодетых дам. Мистер Окхэрст, будучи хорошим наездником, по калифорнийскому обычаю не убавил хода; он подлетел к отелю галопом, круто осадил коня на расстоянии одного фута от веранды и спокойно появился из облака пыли, скрывшего всадника в тот момент, когда он спешил.

Какое бы лихорадочное возбуждение ни испытывал сейчас мистер Окхэрст, обычное спокой-

ствие не оставило его, когда он ступил на веранду отеля. Выработанная годами привычка помогла ему встретить устремлённые на него в упор взгляды с тем же холодным равнодушием, с каким он всегда встречал плохо скрываемое презрение мужчин и робкое восхищение женщин. Только один человек вышел к нему навстречу. Как ни странно, но это был Дик Гамильтон, может быть, единственный из всех присутствующих, кто по своему рождению, воспитанию и положению мог удовлетворить самые привередливые круги общества. К счастью для Окхэрста, Гамильтон был также крупным банкиром и влиятельной личностью.

— А вы знаете, что это за человек, с которым вы сейчас разговаривали? — с испуганным видом спросил его молодой Паркер.

— Да, — вызывающе, ответил Гамильтон — это человек, которому на прошлой неделе вы проиграли тысячу долларов. Я встречался с ним только в гостиных.

— Но ведь он игрок? — спросила младшая мисс Смит.

— Совершенно верно, — ответил Гамильтон, — но я бы хотел, милая барышня, чтобы все вели такую честную и открытую игру, как наш друг, и так же терпеливо сносили её превратности.

Мистер Окхэрст не слышал этого разговора, так как он уже прогуливался по верхнему залу с равнодушным, однако насторожённым видом. Вдруг позади него раздались чьи-то лёгкие шаги, знакомый голос назвал его по имени, и к сердцу его прилила кровь. Мистер Окхэрст обернулся — перед ним стояла она.

Но какая перемена! Если несколько страниц назад я не решался описывать калеку с запов-

шими глазами, жену ремесленника, одетую не по моде, то что же мне делать теперь с изящной, изысканной и элегантной женщиной, в которую миссис Декер превратилась за эти два месяца? Клянусь честью, она была очень хороша.

Без сомнения, мы с вами, дорогая читательница, сразу бы разглядели, что эти очаровательные ямочки не отвечают требованиям истинной красоты и для лица, которое хочет казаться простодушно-весёлым, обозначены слишком резко; что в еле заметных линиях около орлиных ноздрей есть что-то жестокое и эгоистичное; что милое девическое выражение удивлённых глаз могло равным образом быть обращено и к тарелке супа и к рассыпающемуся в любезностях соседу за столом; что щёки её загораются румянцем и бледнеют не из симпатии к другому, а лишь в ответ на собственные ощущения. Но ведь мы с вами, уважаемая читательница, не влюблены в неё, а мистер Окхэрст влюблён. Боюсь, что бедняга даже в складках её парижского туалета увидел ту же непорочность, которая сквозила когда-то в простеньком самодельном платье. А потом это восхитительное открытие, что она может ходить, что у неё очаровательные ножки в крохотных туфельках работы французского мастера, с огромными синими бантами, с клеймом на узенькой подошве: Rue такая-то, Paris!

Он бросился ей навстречу, вспыхнув, протягивая ей руки. Но она заложила свои за спину и, быстро оглядевшись, остановилась перед мистером Окхэрстом, посматривая на него с лукавым и дерзким восхищением, что совершенно не походило на её прежнюю сдержанность.

— Я было вовсе не хотела подавать вам руку. Вы прошли по веранде и даже не загово-

рили со мной, а я побежала за вами, как, должно быть, случалось бегать не одной бедняжке.

Мистер Окхэрст пробормотал, что она очень изменилась.

— Тем более вы должны были узнать меня. Благодаря кому я изменилась? Благодаря вам. Вы сделали меня другой. Вы встретили беспомощную, больную, нищую калеку, у которой было одно-единственное платье, и то сшитое её собственными руками, и вы дали ей жизнь, здоровье, силы и деньги. Всё это дело ваших рук, и вы знаете это, сэр. Как вам нравится ваше собственное создание? — Она приподняла обеими руками платье и отвесила шуточный реверанс. Потом, словно смягчившись, протянула ему обе руки.

Я боюсь, что эти слова покажутся моим прекрасным читательницам бесстыдными и неженственными, но мистеру Окхэрсту они понравились. И не потому, что он привык к откровенному восхищению женщин; то восхищение шло из-за театральных кулис, а не из монастыря, с которым он всегда мысленно связывал миссис Декер. Выслушав такие слова от пуританки, от больной праведницы, всё ещё окружённой ореолом страдания, от женщины, которая держала у себя на туалетном столике библию, три раза на дню посещала церковь и нежно любила своего мужа, — выслушав от неё такие слова, мистер Окхэрст почувствовал себя сражённым. Он всё ещё не выпускал её рук, а она продолжала:

— Почему вы не приехали раньше? Что вы делали в Мэрисвилле, в Сан-Хозе, в Оклэнде? Видите, я следила за вами. Я углядела, что кто-то едет кэньоном, и сразу же догадалась, что это вы. Я прочла ваше письмо к Джозефу и знала, что вы скоро приедете. Почему же вы

мне не написали? Когда-нибудь ещё напишете!  
Добрый вечер, мистер Гамильтон!

Она отняла руку, дав, однако, Гамильтону время почти поровняться с ними обоими. Он с вежливой сдержанностью приподнял шляпу, дружески кивнул Окхэрсту и прошёл мимо. Когда Гамильтон удалился, миссис Декер подняла на мистера Окхэрста глаза.

— Когда-нибудь я попрошу вас о большом одолжении!

Мистер Окхэрст умолял сделать это сейчас же.

— Нет, сначала вы должны узнать меня поближе. А тогда я попрошу вас... убить этого человека.

Она рассмеялась — какой приятный, звенящий смех, какие ямочки на щеках, пожалуй, чуть резкие около рта, какая невинность в этих карих глазках, какой очаровательный румянец, — и мистер Окхэрст, смеявшийся редко, готов был тоже рассмеяться.

Словно ягнёнок предлагал волку совершить набег на овчарню по соседству.

Как-то вечером, через несколько дней после этого разговора, миссис Декер вышла из круга своих очарованных поклонников, извинилась, что покидает общество на несколько минут, и, со смехом отклонив предложение проводить себя, побежала с веранды к маленькому коттеджу, одному из творений её супруга, стоявшему по ту сторону дороги. Возможно, что от непривычного для выздоравливающей моциона, дыханье у неё было прерывистое и лихорадочное, и когда она входила в свой будуар, то раз или два прижала руку к груди. Она зажгла лампу и вздрогнула, увидев, что муж лежит на диване.

— Тебе жарко, ты чем-то взволнована,



Элси? — сказал мистер Декер. — Ты плохо себя чувствуешь, дорогая?

Побледневшее лицо миссис Декер снова вспыхнуло.

— Нет, — ответила она. — Только здесь немножко болит, — и опять положила руку на корсаж.

— Я могу чем-нибудь помочь тебе? — с нежной заботливостью спросил мистер Декер, вставая с дивана.

— Сбегай в отель и принеси мне коньяку.

Мистер Декер побежал. Миссис Декер закрыла дверь, заперла её на задвижку, потом подняла руку и вынула из-за корсажа то, от чего у неё болела грудь. Это была сложенная квадратом записочка, написанная, как мне ни грустно признать, почерком мистера Окхэрста.

Миссис Декер с жадностью стала читать её; глаза у неё горели, щёки пылали. Наконец на веранде послышались шаги. Она второпях сунула записку за корсаж и открыла дверь. Вошёл муж; она поднесла рюмку к губам и сказала, что теперь ей стало легче.

— Ты опять пойдёшь туда вечером? — покорно спросил мистер Декер.

— Нет, — ответила миссис Декер, задумчиво опустив глаза.

— На твоём месте я бы не пошёл, — сказал мистер Декер со вздохом облегчения. После небольшой паузы он сел на диван, привлёк к себе жену и заговорил:

— Знаешь, Элси, о чём я думал, когда ты вошла?

Миссис Декер запустила пальцы в его жёсткую чёрную шевелюру и сказала, что понятия не имеет.

— Я думал о старых временах, Элси; о тех

днях, когда я сделал тебе эту коляску, когда я возил тебя на прогулку и был одновременно и за лошадь и за кучера. Мы тогда жили бедно, и ты болела, Элси, но мы были счастливы. Теперь у нас деньги и дом, и ты стала совсем другой. Я даже скажу, дорогая, что ты теперь какая-то новая. Вот тут и начинается беда. Я мог сделать тебе коляску; я мог выстроить тебе новый домик, Элси, — и всё. Сделать тебя другой я не мог. Ты теперь сильная и хорошенькая, ты поздоровела и стала совсем какая-то новая. Но это не я сделал тебя такой, Элси!

Он замолчал. Ласково опустив одну руку ему на лоб, другую прижав себе к груди, словно желая проверить, не исчезла ли та боль, она сказала нежно и успокаивающе:

— Это ты сделал меня такой, милый!

Мистер Декер грустно покачал головой.

— Нет, Элси. Когда-то у меня была эта возможность, но я упустил её. Теперь всё уже сделано, и я тут ни при чём.

Миссис Декер подняла на него удивлённые, невинные глаза. Муж нежно поцеловал её и заговорил немного веселее:

— Я думал ещё о другом, Элси. Я думал: может быть, ты проводишь слишком много времени с этим мистером Гамильтоном? Ничего предосудительного тут нет ни с твоей, ни с его стороны. Но могут пойти разговоры. Ты здесь единственная, Элси, — сказал он, любовно глядя на жену, — о ком не сплетничают, чьи поступки не подвергаются критике и осуждению.

Миссис Декер была очень рада, что он заговорил об этом. Сама она тоже так думает, но ей не хочется быть невежливой с мистером Гамильтоном, он такой элегантный джентльмен, — ей не хочется наживать себе врага.

— Кроме того, он всегда обращался со мной как с дамой своего круга, — с некоторой гордостью добавила миссис Декер, заставив мужа ласково улыбнуться. — Но у меня есть один план. Мистер Гамильтон не останется здесь, если я уеду. Например, если я соберусь на несколько дней в Сан-Франциско навестить маму, он уедет ещё до моего возвращения.

Мистер Декер был в восторге.

— Конечно, конечно, — сказал он, — отправляйся завтра же. Джек Окхэрст тоже едет в Сан-Франциско, я поручу тебя его заботам.

Миссис Декер думала, что это будет неблагоразумно.

— Мистер Окхэрст наш друг, Джозеф, но ведь ты знаешь, какая у него репутация. — Она даже сомневалась, стоит ли ей уезжать в один день с ним, но мистер Декер поцелуем прогнал все её сомнения. Она грациозно согласилась. Немногие женщины умели так очаровательно проявлять покорность, как миссис Декер.

В Сан-Франциско миссис Декер пробыла неделю. Она вернулась оттуда немного похудевшая и бледная. По её словам, это объяснялось обилием впечатлений и тем, что ей пришлось много ходить.

— Меня по целым дням не бывало дома. Вот мама тебе расскажет, — говорила она мужу. — И я повсюду ходила одна. Я теперь совсем самостоятельная, — добавила она весело. — Мне уже не нужно провожатых, Джо, я могу обходиться даже без тебя — я теперь такая храбрая!

Но поездка, повидимому, не оправдала её расчётов. Мистер Гамильтон никуда не уехал, попрежнему оставался здесь и в тот же вечер навестил их.

— У меня зародился один план, Джо, голубчик, — сказала миссис Декер, когда он ушёл. — У бедного мистера Окхэрста отвратительная комната в отеле, — что если ты предложишь ему перебраться к нам, когда он придет из Сан-Франциско? Мы отдадим ему свободную комнату. Я надеюсь, — добавила она лукаво, — что мистер Гамильтон тогда не будет таким частым гостем у нас.

Муж рассмеялся, назвал её маленькой кокеткой, ущипнул за щеку и согласился.

— Удивительный народ эти женщины, — сказал он, беседуя как-то с мистером Окхэрстом по душам, — у них нет своего плана, так они берут наш и возводят здание по собственному вкусу, совершенно иное, чем мы предполагали. И, черт побери, кто из нас поручится, что они не руководились нашими масштабами и расчётами? Вот что самое удивительное!

На следующей неделе мистер Окхэрст водворился в коттедже Декеров. Все знали, что с мужем у него дела, а репутация жены была выше всяких подозрений. В самом деле, немногие женщины могли похвалиться такой доброй славой. Она считалась домоседкой, благоразумной и богомольной. Живя в стране, где женщины пользуются большой свободой и независимостью, миссис Декер никогда не выезжала и не прогуливалась без мужа; в те дни, когда рискованные двусмысленные словечки имели такое широкое распространение, речь её всегда отличалась точностью и сдержанностью; несмотря на широко вошедшую в моду показную роскошь, она не носила ни бриллиантов, ни других драгоценностей. Никогда не позволяла себе вольностей на людях, никогда не поощряла распушенности, царившей в калифорнийском

обществе. Миссис Декер горячо протестовала против господствовавшего в те дни неверия и скептицизма в вопросах религии. Из всех, кто был в тот раз в общей гостиной, немногие, вероятно, забудут, какой достойный и внушительный отпор дала она мистеру Гамильтону, пустившемуся в рассуждения об одной недавно вышедшей книге, исполненной крайнего материализма, а кое-кто вряд ли забудет и недоумевающую мину мистера Гамильтона, сменившуюся иронической серьёзностью, когда он мало-помалу вежливо сдался. И уж во всяком случае не забудет этого мистер Окхэрст, который с той минуты испытывал неловкость и раздражение в присутствии друга и — если только это слово можно применить к его характеру — даже побаивался смелых суждений мистера Гамильтона.

Именно в это время мистер Окхэрст стал изменять своим привычкам. Его уже редко, а то и вовсе нельзя было встретить в игорных домах, в салунах, в обществе прежних друзей. На туалетном столике в Сакраменто накапливались груды розовых и белых записочек, написанных неровным почерком. В Сан-Франциско прошёл слух, что мистер Окхэрст страдает органическим пороком сердца и врачи предписали ему полный покой. Он стал больше читать, подолгу гулял, распродал своих рысаков, посещал церковь.

В памяти у меня живо сохранилось его первое появление в церкви. Мистер Окхэрст не пошёл туда вместе с Декерами и не сел на их скамью; он появился в церкви, как только началась служба, и спокойно занял место в одном из задних рядов. Тайнственным образом его присутствие стало известно молящимся, и некоторые любопытные прихожане настолько

забылись, что повернули головы к нему, словно выражая своё изумление.

Ещё задолго до конца службы всем стало ясно, что «несчастный грешник», к которому были обращены увещания проповедника, был не кто иной, как мистер Окхэрст. Те же таинственные силы повлияли и на совершавшего богослужение джентльмена, который не преминул намекнуть на профессию и образ жизни мистера Окхэрста в своей проповеди на тему об архитектуре соломонова храма, и намёки эти были настолько прозрачны и вместе с тем замысловаты, что даже самый юный из нас исполнился негодованием. Но, к счастью, все это прошло мимо ушей Джека, — думаю, что он даже ничего не слышал. Его красивое матово-бледное лицо — правда, несколько изнурённое и задумчивое — было непроницаемо. Только раз, во время пения гимна, когда в хоре голосов вдруг послышалось чьё-то контральто, в его тёмных глазах проскользнула тоскливая нежность, такая горячая и вместе с тем безнадёжная, что те, кто наблюдал за ним, почувствовали, как у них самих навёртываются слёзы на глаза. Но наряду с этим я живо вспоминаю, как мистер Окхэрст поднялся, чтобы принять благословение, всеми своими манерами и наглухо застёгнутым сюртуком наводя на мысль, что он стоит на расстоянии десяти шагов от пистолета противника. Когда служба кончилась, он удалился так же спокойно, как и вошёл, не услышав, к счастью, толков по поводу своего дерзкого поступка. Его появление в церкви расценивалось всеми как наглость, на которую он пошёл просто ради озорства или, может быть, на пари. Некоторые считали, что причетник совершил оплошность, не выгнав этого человека, как только стало из-

вестно, кто он такой; один солидный прихожанин заявил, что если нельзя водить сюда жену и дочь, не подвергая их таким дурным влияниям, то придётся искать другую церковь. Кто-то приписал поступок мистера Окхэрста усилению неких радикальных тенденций, имевших место в англиканской церкви, — тенденций, которые, как это ни грустно, начинают, повидимому, оказывать своё влияние и на нашего пастора. Преподобный Сойер, хрупкая, болезненная жена которого родила ему одиннадцать человек детей и пала жертвой честолюбивого замысла довести счёт потомства до дюжины, утверждал, что присутствие в церкви мистера Окхэрста, славившегося своими бесчисленными любовными похождениями, оскорбляет память усопшей, чего он, будучи мужчиной, не потерпит.

Приблизительно в это же время, сопоставив себя с чопорным кругом, в котором раньше ему редко приходилось вращаться, мистер Окхэрст понял, что в его лице, фигуре и манерах есть что-то такое, что выделяет его среди других и если не говорит прямо о его прежней профессии, то во всяком случае подчёркивает индивидуальность, весьма необычную. Под влиянием этой мысли он сбрил свои длинные шелковистые усы и стал каждое утро добросовестно прилизывать щёткой кудрявые волосы. Он зашёл даже настолько далеко, что старался добиться некоторой небрежности в костюме и обул свои изящные маленькие ноги в громадные, тяжёлые башмаки. Рассказывают, будто он явился однажды к своему портному в Сакраменто и заказал костюм — «такой, как у всех». Портной, прекрасно знавший, как трудно угодить на мистера Окхэрста, не понял, что тому нужно.

— Мне нужно, — свирепо сказал мистер Окхэрст, — что-нибудь респектабельное, понимаете, что-нибудь такое, что будет не по мне.

Но как ни старался мистер Окхэрст спрятать свою статную фигуру под безвкусной, неприятельной одеждой, в его манерах, в посадке прекрасной головы, в мужественной красоте фигуры, в абсолютно безупречном владении телом, в спокойствии, не столько выработанном, сколько дарованном ему самой природой, — во всём этом было что-то такое, что сразу выделяло его из тысячи, где бы и с кем бы он ни появлялся. Факт этот, должно быть, впервые предстал перед мистером Окхэрстом с такой ясностью, когда он, ободрённый советом и помощью мистера Гамильтона, а также и по собственному влечению, стал маклером в Сан-Франциско. Ещё до того, как раздались протесты по поводу включения его в биржевой комитет, — насколько я помню, особенно усердствовал Уот Сэндерс, считавшийся изобретателем системы вытеснения мелких акционеров и, по слухам, несший ответственность за финансовый крах и самоубийство Бригса из Туолумне, — до того, как респектабельность официально возмущения против этого беззакония, орлиный облик и повадки мистера Окхэрста уже успели не только всполошить голубков, но привели в смятение и ястребов, круживших под ним со своей добычей.

— Чорт его побери! Он способен и к нам протянуть свои когти! — сказал Джо Филдинг.

До закрытия короткого летнего сезона на серных источниках в Сан-Изабелле оставалось несколько дней. Наиболее элегантная публика уже начинала разъезжаться, а тем, кто ещё не успел уехать, не оставалось ничего другого,



как чувствовать себя отбросами общества. Мистер Окхэрст ходил мрачный: ему намекнули, что даже прочно установившаяся репутация миссис Декер не спасла её от сплетен, вызванных его присутствием здесь. К чести миссис Декер следует сказать, что все испытания последних недель она переносила с видом кроткой, бледной мученицы и в своём обращении с клеветниками проявляла мягкость и всепрощающую доброту — качества натуры, которая считается не с мнением толпы, а только с истиной и пренебрегает ради неё благосклонностью общества.

— Обо мне и о мистере Окхэрсте ходят сплетни, — сказала она одной своей приятельнице, — но господь бог и мой супруг лучше всех могут ответить на эту клевету. Никто не посмеет сказать, что мой муж отвернулся от друга в трудную для того минуту только потому, что они поменялись местами: друг стал беден, а он богат.

Так публика впервые узнала, что Джек разорился; то, что Декеры приобрели за последнее время солидную недвижимость в Сан-Франциско, было уже известно.

Спустя несколько дней в Сан-Изабелле произошло событие, весьма неприятно нарушившее мирную жизнь курорта. Это случилось за обедом; все увидели, что мистер Окхэрст и мистер Гамильтон, занимавшие отдельный столик, взволнованные чем-то, разом поднялись со своих мест. Выйдя в холл, они, словно по обоюдному согласию, свернули в маленькую буфетную, где в эту минуту никого не было, и прикрыли за собой дверь. Тут мистер Гамильтон посмотрел на своего друга с полушутливой, полусерьёзной улыбкой и сказал:

— Если нам суждено поссориться, Джек

Окхэрст — нам с вами! — не будем смешными, давайте подождём более серьёзного повода, чем эта...

Я не знаю, какой именно эпитет он хотел употребить. Конец фразы остался недоговорённым или же неуслышанным, ибо в эту минуту мистер Окхэрст поднял стакан и выплеснул его содержимое в лицо Гамильтону.

Казалось, что эти два человека, стоявшие друг против друга, поменялись характерами. Мистер Окхэрст дрожал от волнения; опуская стакан на стол, он еле удержал его в руках. Мистер Гамильтон стоял, выпрямившись, лицо его, залитое вином, посерело. После короткого молчания он сказал ледяным тоном:

— Пусть будет так! Но помните — наша ссора началась здесь. Если я паду от вашей руки, вы не воспользуетесь этим, чтобы обелить её в глазах общества; если же вы падёте от моей, никто не сочтёт вас мучеником. Очень жалею, что так вышло, но — ничего не поделаешь! Теперь чем скорее, тем лучше!

Он гордо повернулся, прикрыл веками свои холодные стальные глаза, словно пряча рапиру в ножны, поклонился и спокойно вышел из комнаты.

Спустя двенадцать часов они сошлись в небольшой ложбине у стоктонской дороги в двух милях от гостиницы. Принимая из рук полковника Старботла пистолет, мистер Окхэрст сказал ему вполголоса:

— Каков бы ни был исход, я не вернусь в отель. У меня в комнате вы найдёте кое-какие распоряжения. Зайдите туда. — Голос его дрогнул; к великому изумлению секунданта, мистер Окхэрст отвернулся, пряча набежавшие на глаза слёзы.

— Сколько раз мне приходилось бывать с Джеком в таких переделках, — рассказывал впоследствии полковник Старботл, — и никогда я не видел, чтобы он так раскисал. А тут, черт меня побери, пока он не занял своей позиции, я готов был подумать, что малый трусит!

Выстрелы раздались почти одновременно. Правая рука мистера Окхэрста повисла, и пистолет выпал бы из его парализованных пальцев, не проявись тут его изумительнее умение владеть своими нервами и мускулами; он не разжимал руки до тех пор, пока не ухитрился переложить пистолет в другую, не меняя своей позиции. Потом наступила тишина, казавшаяся нескончаемой; смутно различимые фигуры приблизились к тому месту, где всё ещё медленно стлался дымок; мистер Окхэрст услышал прерывающийся сиплый голос полковника Старботла:

— Тяжело ранен... прострелено лёгкое... удирайте!

Джек поднял на секунданта тёмные, недоумевающие глаза, повидимому, не слыша его; казалось, он ловит чей-то другой, отдалённый голос. Постояв в нерешительности, он шагнул по направлению к собравшейся кучке людей. Потом остановился, увидев, что те расходятся, а навстречу ему спешит врач.

— Он хочет поговорить с вами. Я знаю, что вам нельзя мешкать, но, — врач понизил голос, — мой долг сказать вам, что у него времени совсем не осталось.

Обычно бесстрастное лицо мистера Окхэрста исказилось отчаянием, таким безнадежным, что врач вздрогнул.

— Вы ранены! — сказал он, взглянув на его бессильно повисшую руку.

— Пустяки — царапина, — быстро проговорил Джек. Потом добавил с горькой усмешкой: — Мне сегодня не везёт. Но пойдёмте! Посмотрим, что ему нужно.

Шагая быстро и взволнованно, он перегнал врача и в одно мгновение был возле умирающего, который, как почти все умирающие, лежал спокойно и неподвижно в кругу суетящихся людей. Лицо мистера Окхэрста не было так спокойно, когда он опустил на колени и взял его за руку.

— Я хочу поговорить с этим джентльменом наедине, — с обычной повелительностью сказал Гамильтон окружающим. Когда те отошли, он взглянул Окхэрсту прямо в глаза. — Мне нужно кое-что сказать вам, Джек.

Лицо его было бледно, но всё же не так бледно, как склонённое над ним лицо мистера Окхэрста — страшное лицо, исполненное сомнений и предчувствия неминуемой беды, лицо, такое жалкое в своей бесконечной усталости и жажде смерти, что даже умирающий, уходя из жизни, почувствовал сострадание, и циническая улыбка замерла у него на губах.

— Простите меня, Джек, за то, что я скажу вам, — прошептал он еле слышно. — Я не застал против вас злобы. Я говорю просто потому, что сказать надо. Я бы не выполнил своего долга... я не могу умереть спокойно, пока вы не узнаете всего. Это очень тяжело. Но теперь уже ничего не поделаешь. Слушайте... Мне следовало бы умереть от пули Декера, а не от вашей.

Лицо Джека вспыхнуло огнём, он хотел встать, но Гамильтон удержал его.

— Слушайте! У меня в кармане два письма. Возьмите их — вот они. Почерк вам знаком. Но дайте мне слово, что вы прочтёте их только

тогда, когда будете в полной безопасности. Дайте мне слово!

Джек не ответил, он взял письма, словно это были раскалённые угли.

— Дайте слово! — еле слышно проговорил Гамильтон.

— Зачем? — холодно спросил Окхэрст, выпуская руку своего друга.

— Затем, — с горькой улыбкой сказал умирающий, — затем, что, прочтя их, вы вернётесь сюда, где вас ждёт... тюрьма... и... смерть!

Это были его последние слова. Он слабо пожал Джеку пальцы. Потом его рука разжалась, и он поник бездыханный.

Было уже около десяти часов вечера, и миссис Декер с книгой в руках в томной позе лежала на диванчике, в то время как её муж спорил о политике в баре отеля.

Ночь стояла тёплая, и стеклянная дверь на балкон была приоткрыта. Вдруг миссис Декер услышала на балконе чьи-то шаги и, слегка вздрогнув, подняла глаза от книги. Вслед за тем дверь распахнулась, и в комнату вошёл человек.

Испуганно вскрикнув, миссис Декер поднялась с дивана. — Боже мой, Джек, вы сошли с ума! Он вышел не надолго, может вернуться каждую минуту. Приходите через час... завтра... в любое время, когда я выпровожу его отсюда, но сейчас уходите, милый, уходите.

Мистер Окхэрст подошёл к двери, запер её на задвижку и, не говоря ни слова, повернулся к миссис Декер. Лицо у него было измученное, правый рукав висел пустой, на забинтованной руке сквозь повязку проступала кровь.

Всё же голос миссис Декер прозвучал твёрдо, когда она снова обратилась к нему:

— Джек, что случилось? Зачем вы пришли?

Он расстегнул сюртук и бросил к её ногам два письма.

— Я пришёл вернуть вам письма вашего любовника и убить вас... и себя, — сказал он так тихо, что слов его почти нельзя было разобрать.

Среди многих добродетелей этой восхитительной женщины насчитывалось и холодное мужество. Миссис Декер не упала в обморок, даже не вскрикнула. Она медленно опустилась на диван, сложила руки на коленях и спокойно сказала:

— Ну что ж, убейте!

Подайся она назад, прояви она страх или раскаяние, попытайся прибегнуть к объяснениям или оправданиям, мистер Окхэрст счёл бы всё это за доказательство её виновности. Но ничто так не пленяет мужественную натуру, как мужество в других; ни перед чем так не преклоняется безумство, как перед таким же безумством; а мистер Окхэрст был не настолько проникателен, чтобы подвергнуть сомнению моральное качество этой отваги. Даже ярость не помешала ему оценить бесстрашие больной женщины.

— Ну что ж, убейте! — повторила она с улыбкой. — Вы дали мне жизнь, здоровье, счастье, Джек. Вы дали мне любовь. Ну что ж, берите свои дары обратно. Убейте меня! Я готова.

Как и при первой встрече в отеле, она с бесконечной грацией протянула ему руки. Джек поднял голову, одно безумное мгновение смотрел ей в глаза, потом упал на колени и поднёс край её платья к своим горящим губам. Миссис

Декер была слишком умна, чтобы не видеть своей победы, но в ней слишком сильна была женщина, и при всём своём уме она не могла удержаться, чтобы не вкусить сладость этой победы. Разгневанная и оскорблённая, она поднялась с дивана и величественным жестом указала на дверь. Мистер Окхэрст тоже встал, бросил на неё один-единственный взгляд и, не сказав ни слова, ушёл навсегда.

Как только он удалился, миссис Декер закрыла балконную дверь, заперла её на задвижку и, подойдя к камину, до тех пор держала оба письма над свечой, пока они не превратились в пепел.

Я вовсе не хочу уверять читателя, что во время этой неприятной операции миссис Декер сохраняла полное спокойствие. Рука её дрожала, и так как не всё человеческое было ей чуждо, она в течение нескольких секунд (может быть, минут) чувствовала себя совсем скверно— уголки её выразительного рта опустились. Вернувшегося мужа она встретила с неподдельной радостью и так доверчиво прильнула к его широкой груди, что этот простодушный малый был растроган до слёз.

— Я узнал сейчас ужасную новость, Элси, — сказал мистер Декер после взаимного обмена нежностями.

— Я не хочу слушать твои ужасные новости, милый, я сегодня плохо себя чувствую, — умоляющим голосом проговорила миссис Декер.

— Но это касается мистера Окхэрста и Гамильтона.

— Ну, я прошу тебя! — Мистер Декер не мог устоять перед умоляющей грацией этих бело-снежных рук, этого чувственного рта и заключил её в свои объятия.

Вдруг он спросил:

— Что это?

Мистер Декер показывал ей на грудь. В том месте, где мистер Окхэрст коснулся её белого платья, осталось пятнышко крови.

Пустяки; она хотела закрыть окно и порезала себе палец; рама так туго закрывается! Если бы мистер Декер не забывал опускать и закрывать ставни перед уходом, ничего бы не случилось. Этот упрёк был произнесён с таким неподдельным раздражением и выразительностью, что мистер Декер был просто подавлен угрызениями совести. Но миссис Декер простила его с той грацией, о которой уже упоминалось на этих страницах, и теперь, с позволения читателя, мы оставим эту пару, окружённую ореолом согласия и супружеского счастья, и вернёмся к мистеру Окхэрсту.

Впрочем, придётся опустить две недели. По истечении этого времени мистер Окхэрст появился в своём доме в Сакраменто и, как и встарь, занял обычное место за игорным столом.

— Как ваша рука, Джек? — неосторожно спросил его один игрок.

Вопрос сопровождался улыбкой, которая, однако, мгновенно исчезла, стоило только Джеку обратить свой спокойный взгляд на говорившего.

— Немного мешает сдавать, но стрелять я могу и левой.

Игра продолжалась в торжественной тишине, всегда отличавшей стол, за которым держал банк мистер Джон Окхэрст.



## Приложение I

### С Т И Х И <sup>1</sup>

#### В Т У Н Н Е Л Е

**Я** и Том Флин,  
Флин из Вирджинии.  
В этом вот месте  
Копали вместе  
Проход один.

Здесь в туннеле,  
Сгорбась, сидели  
Я и Том Флин.  
Скалы рубили,  
Золото мыли  
Среди теснин.

Где теперь Флин?  
Эхо долин  
Скажет, где он,  
Друг мой Том Флин.

---

<sup>1</sup> Калифорнийские баллады Брета Гарта появились одновременно с основным циклом его рассказов о «старателях» и тесно соединены с ними как по теме, так и по общему художественному колориту. В американской поэзии XIX века им принадлежит самостоятельное место. Брет Гарт смело расширяет традиционную поэтическую тему, вводя в поэзию материал повседневности. В его стихах читатель находит то своеобразное сочетание патетических и юмористических мотивов, которые характеризуют его рассказы. Баллады Брета Гарта впервые переводятся на русский язык.

Том весельчак,  
Храбрец, добряк,  
Мой компаньон.  
На месте том,  
Там, где обвал,  
Крепленье Том  
Спиной держал  
И вдруг из мрака  
Мне закричал:  
«Спасайся скорей  
Ради детей,  
Не жди меня, Джек!»

И в миг один  
Средь скал навек  
Пропал Том Флин,  
Флин из Вирджинии.

Вот весь рассказ  
О том, как спас  
Меня Том Флин,  
Флин из Вирджинии.  
Я плачу... Нет...  
То не слеза.  
То лампы свет  
Слепит глаза.

Коль спросят тебя,  
Где, скалы рубя,  
Сгинул Том Флин.  
Скажи о том,  
Каков был Том  
Флин из Вирджинии.

### Ц Е Ц И Л И Я

Итак, вы поэт, — признаюсь,  
не смыслю в стихах ничего,  
Хоть дайте мне сотню, хоть бейте,  
не выжму ни одного.  
Поэзия! Могут иные  
в стихи свою мысль облечь,  
Слова у меня простые,  
и «не подслащена» речь.



Когда, по какой дороге  
ушла она, я не знал,  
Но тотчас в большой тревоге  
за нею я побежал.  
Среди полночного мрака  
метался растерянно я.  
Словно по следу собака,  
лишившаяся чутья.

Да, испытал я немало,  
блуждая во тьме ночной  
По этой мёртвой равнине,  
пока не вернулся домой.  
Не очень ведь это приятно,  
когда гоняется муж  
За женой-сумасбродкой в пустыне,  
да ещё в темноте к тому ж.

Цецилия! — в тьму иступлённо  
кричал я и отклика ждал.  
«Цецилия!» — мне из каньона  
гремело эхо от скал.  
«Цецилия!» — гулом суровым  
от гор доносился крик.  
«Цецилия!» — тихим зовом  
шептал мне оснеженный пик.

Не склонен я к суеверью,  
но в небо взглянул на бегу,  
И вот что я там увидел,  
не думайте, что я лгу.  
Передо мной на востоке  
сверкнула большая звезда,  
Такой звезды желтоокой  
не видел я никогда.

Двигаясь, словно танцуя,  
как дальний маяк, светла,  
Куда-то во тьму ночную  
манила она и звала.  
В небе такого светила  
не видел я никогда.

Такая звезда светила  
волхвам в былые года.

И к этой звезде чудесной,  
мигавшей мне с высоты,  
Бежал я впотьмах, спотыкаясь  
о камни, колючки, кусты.  
Наверно, не меньше часа  
гонялся за ней я вскачь,  
И вдруг вдалеке услышал  
такой же вот детский плач.

Вы слышите? Плачет так звонко!  
Теперь её крик сильней.  
Но как я мать и ребёнка  
донёс, не помню ей-ей!  
Тут скоро и доктор явился,  
но в этом забавней всего,  
Что Цецилия о той ночи  
не помнит совсем ничего.

Она назвала вас поэтом,  
тогда к вам просьба моя:  
Вы ей напишите об этом  
в стихах, ничего не тая,  
Но, чтоб не испортить балладу,  
такую, как пелись встарь,  
Писать про звезду не надо,  
что доктора был то фонарь.

#### Е Ё П И С Ь М О

К камину подвинувшись ближе,  
Я в бальном платье моём, —  
За тысячи сшитом в Париже, —  
Сажу сейчас пред огнём.  
Сверкая в лучах бриллиантов,  
«Царица сезона», для вас  
Забыв всех поклонников-франтов,  
Я вам отдаю этот час.

Отвергла я все приглашенья,  
Нарушила танцев черёд,  
Не выслушала предложенья  
Того, кто на лестнице ждёт.  
Говорят, он жених завидный  
И любит меня притом,  
Но вы усмехнётесь ехидно,  
За три тысячи миль, над письмом.

«Как нравится мне в Нью-Йорке?»  
«Забыла ль я вас совсем?»  
«От жизни роскошной в восторге,  
Танцую, флиртую я с кем?»  
«Не правда ль, быть лучше богатой,  
Ходить в бриллиантах, в шелках,  
Чем рыть туннели лопатой  
В посёлке на приисках?»

Увидев, как цугом в карете  
Четвёркой мы едем гулять;  
Какою гранд-дамой в свете  
Старается быть моя мать;  
Отцовский портрет в гостиной  
Увидев, — кто скажет: — Ах!  
Ведь он торговал свинойной  
В посёлке на приисках.

На кресле под люстрой хрустальной,  
Пред пышным зеркальным трюмо,  
Под отзвуки музыки бальной  
Пишу я вам это письмо. —  
На «лучшем балу в Нью-Йорке»,  
Средь флёра de Chambery,  
Я вспомнила, Джо, как на «Форке»  
Плясали до самой зари.

Я помню блокгауз сарая  
С флажками, воткнутыми в щель,  
Где свечи роняли, сгорая,  
На платья и шали капель;  
И старую скрипку с гобоем,  
И платье моей vis-à-vis,  
И танец однажды с ковбоем,  
Убившим Сэнди Мак Жи.

Разъезд наш и месяц низкий,  
Уснувший на дальнем холме,

Гранитных вершин обелиски  
Под снежным покровом во тьме;  
И скачку вдвоем меж холмами,  
И ваши слова у крыльца...  
Ах, Джо, ведь тогда между нами  
Не встало богатство отца!

Всё это прошло, миновало.  
И странно, что даже сейчас,  
Средь блеска, богатства и бала,  
Я всё ещё помню вас.  
Того, кто вплавь прорывался  
Чрез паводок Форка в ночь,  
Чтоб пригласить на тур вальса  
Фолинсби старого дочь.

Но что я пишу вам! Наверно,  
Меня не поймёте вы;  
Что вкус у меня очень скверный  
Мне скажет мама — увы!  
О боже! Как это несносно!  
Зачем мой отец на доход  
От жилы золотоносной  
Таким богачом живёт?

Сложной ночи! Кончаю  
Письмо, но, может быть, там  
У вас ваше солнце, пылая,  
Восходит ещё по горам.  
Какие б ни были толки,  
Пусть, Джо, вы с киркой в руках,  
Но сердце моё в посёлке  
Там, с вами, на приисках!

#### Ч И К И Т А

Красавица, сэр, по всем статьям. Равной ей нет в округе.  
Не правда ль, моя Чикита, моя голубка, красотка?  
Погладьте ей шею. Бархат! Да стой же ты, чортова  
ведьма!  
Джек, проведи-ка её. Покажи её рысь джентльмену.

Морган! Чистейшей крови, хотя я не взял аттестата,  
От индейца Чипнева, — за тысячу двести не купишь!  
Бриг из Туолумне владел ей. Вы знали Брига?  
Он прогорел и в влюб пустил себе пулю во Фриско.

Всё потерял этот Бриг. Эй, Джек, довольно дурачеств.  
Волю ей только дай, потом её не удержишь.  
Есть лошадь и лошадь, сэр, и не каждый ездок —  
наездник,  
Да, не всякий сумеет на всякой лошади ездить!

Знаете Старый брод на Форке, где фланиганцы  
Чуть не погибли? Опасен и днём в половодье.  
Недель шесть назад я, судья и его племянник  
Попали на этот брод в ливень и наводнение.

Ущелье Гремучей Змеи бушевало потоком.  
Паводок снёс мосты, ни бревна, ни доски в плотине.  
Я — на Сером, судья — на Чалом, племянник его —  
на Чиките.  
И позади обвалы скал грохотали в каньоне!

К броду подъехали мы. Не успел я всаднику крикнуть,  
Как сразу Чикита моя бросилась в паводок бурный  
И поплыла. Я смотрел с берега, как унесило  
Тысячу двести долларов конского мяса.

Верите мне или нет? Вот эта кобылка Чикита  
В стойло вернулась в ту ночь и стояла там смирно,  
Мокрая, словно бобёр, — без седла, без уздечки.  
Вплавь через Форж добралась кобылка моя Чикита.

Вот это так лошадь! Что вы сказали? А как племянник?  
Утонул, надо думать, — пропал с этой ночи бесследно.  
Мальчишка был без посадки. Такого езде не обучишь.  
Мальчишка мальчишке рознь, как и лошади лошадь.



## Приложение II

### ЧЕРНЫШЕВСКИЙ О БРЕТЕ ГАРТЕ

**М**ало кто знает, что великий русский писатель и революционер Н. Г. Чернышевский, будучи в ссылке в Сибири, живо заинтересовался произведениями нового тогда в России американского писателя Брета Гарта, перевёл один из его рассказов («Мигглс») и оставил заметки о Брете Гарте, представляющие значительный интерес.

Рукописный перевод рассказа и сопровождавшие его письма Чернышевского к жене были, вместе с некоторыми другими письмами и материалами Чернышевского, конфискованы царскими властями. Якутский губернатор усмотрел в них попытку Чернышевского вернуться к авторской деятельности. Они были опубликованы только в советское время<sup>1</sup>.

Письма Чернышевского, о которых идёт речь, относятся к весне 1878 года. Уже четырнадцать лет он жил оторванный от общественных и литературных интересов, от семьи и друзей. Однако Чернышевский не переставал читать и работать, поскольку это было возможно при отсутствии культурной среды и при непрестанном жандармском надзоре. Среди книг, которые посылали ему

---

<sup>1</sup> См. Н. Чернышевский. Литературное наследие. Том II, М. 1928, стр. 512—513 и 521—534.

родные, часто случайных по содержанию, как он сам отмечал, однажды оказались избранные сочинения Брета Гарта. Они произвели на него большое впечатление.

«Один из таких удачных случаев выбора — два маленькие томика рассказов и тому подобных мелочей Брета Гарта — в английском подлиннике<sup>1</sup>, — пишет Чернышевский жене. — В них много пустяков. Но много такого прекрасного, что прозу я перечитывал раз десять и буду перечитывать ещё; а пьес десяток из написанного стихами я читал столько, что выучились они у меня наизусть, и я воспеваю их на своих прогулках».

Стихи, которые Чернышевский «воспевал» на своих уединённых прогулках, были, надо думать, знаменитые «старательские баллады» Брета Гарта, «Диккенс в лагере», «Чикита» «В туннеле» и другие.

«Его рассказы были переведены на русский, в «Отечественных» ли «Записках», в «Вестнике» ли «Европы», не помню, — продолжает Чернышевский. — Ты читала этот перевод? Но там не было самого прелестного, по-моему, из тех рассказов. Переводчик, вероятно, нашёл его пустым. Это бывает. Самое прелестное оставляется без внимания. Этот прелестный рассказ — «Мигглс»<sup>2</sup>. И вот я перевёл эту крошечную вещичку для тебя и для наших детей».

Второе письмо Чернышевского (оба письма помечены 31 марта 1878 года) содержит перевод рассказа Брета Гарта и заметки к нему. Перевод Чернышевского очень точен и прекрасно передаёт характер подлинника; Чернышевский вполне владел английским языком и издавна

---

<sup>1</sup> Речь идёт о таухницевском издании избранных произведений Брета Гарта (Prose and Poetry. By Bret Harte. Vol. 1—2. Leipzig. Tauchnitz. 1872).

<sup>2</sup> Это неверно. Первые переводчики Брета Гарта в России не пропустили без внимания «Мигглс». Рассказ был напечатан в 1873 году в «Отечественных записках» и вошёл в сборник рассказов Брета Гарта, вышедший в 1876 году. Чернышевский естественно мог этого не знать.

следил за американской жизнью. Он делает много примечаний к своему переводу, объясняет имена, особенности изображаемого быта, которые могут быть непонятны русскому читателю, оговаривает отдельные вольности, допущенные им в переводе.

Однако главные замечания Чернышевского по поводу рассказа Брета Гарта носят гораздо более общий характер. Они представляют собой нечто вроде рассуждения на материале «Мигглс» о неравноправном положении женщины в буржуазном обществе и затрагивают вопросы социальной морали. В виде предисловия к «Мигглс» Чернышевский пишет жене следующее:

«Милый мой друг, Оленька,

Вот тебе материал для курса морали, который пусть послушают от тебя наши с тобой дети.

Эти твои лекции будут им полезнее школьной премудрости».

Почему же рассказ Брета Гарта должен был служить материалом для «курса морали»?

В «Мигглс», одном из наиболее замечательных ранних рассказов Брета Гарта, изображена молодая женщина, которая живёт уединённо в глуши, посвятив себя заботам о парализованном слабоумном человеке, с которым она делит лесную сторожку. Группа застигнутых непогодой обывателей-горожан заезжает в это глухое местечко в поисках ночлега. Тут выясняется, что Мигглс — недавно ещё известная всей округе «весёлая девушка» с золотых приисков, а больной Джим, которого она так преданно опекает, не отец её, не брат и не муж, а один из её прежних любовников. Этот человек, увлечшись ею, потратил на неё в своё время все свои деньги, и когда она снова встретила его на своём пути нищим и неизлечимо больным, она посвятила ему свою жизнь.

Обыватели, в особенности дамы, шокированы соприкосновением с «миром разврата». Некоторые эпизоды «Мигглс» заставляют вспомнить другой, более знаменитый рассказ, — мопассановскую «Пышку». Брет Гарт, с несом-

ненной для Америки 60—70-х годов смелостью, героизирует Мигглс и рисует характер благородный, пылкий и прямой, обаяние которого оказывает своё действие даже на заскорузлых обывателей.

Известно, какое выдающееся место занимал вопрос о женском равноправии в социальных взглядах Чернышевского и всего круга русской революционно-демократической интеллигенции 60-х годов. Известно также, что Чернышевский считал, что для того, чтобы нанести чувствительный удар вкоренившейся традиции собственнического и эксплуататорского отношения к женщине в семье и в обществе, женщине должна быть предоставлена полная и безусловная свобода в личных отношениях, напоминающая и даже превосходящая ту, которую общество считает дозволенной для мужчины. «Когда палка была долго искривлена в одну сторону, чтобы выпрямить её, должно много перегнуть на другую сторону», — писал он по этому поводу.

Смелая характеристика Мигглс у Брета Гарта не могла не найти у Чернышевского горячего отклика. Для него, однако, оказались безусловно неприемлемы те извиняющие оговорки в отношении «греховности» Мигглс, без которых Брет Гарт не решился обойтись. Одну из них — ассоциацию образа Мигглс с какою-то Марией Магдалиной — Чернышевский отводит уже в сноске к своему переводу, считая её совершенно нетерпимой.

«Это... по-моему, вовсе лишнее оправдание грехам Мигглс», — пишет Чернышевский и начинает сам характеризовать девушку очень тонко и наблюдательно, причём эта характеристика перерастает у него в «курс морали», в раскрытие социальной подоплёки ханжеского отношения к женщине в собственническом обществе.

«У Мигглс не было в жизни ничего нуждающегося в оправдании», — пишет Чернышевский. — Она — когда веселилась, не делала ничего дурного. Конечно, жаль, что она не родилась барышней и осталась сиротою и должна была держать харчевню, а не разъезжать с маменькой

по балам. Но в этом и весь её — «грех», что она не могла разъезжать по балам».

Дальше Чернышевский пишет: «Те вставки, которые у него (Брета Гарта. — А. С.) сделаны для оправдания Мигглс, напрасны. Мигглс вовсе не нуждается в оправдании. Она бойкая, она была шалунья».

Это, если судить строго, то — даже хорошо: шалить в молодости это хорошо. Лишних вставок для оправдания Мигглс у Брета Гарта две. Одну я уже отметил, другая — раньше: лишнее объяснение, что Мигглс, отступая в тень, прикрывает свои грехи заступничеством неподвижной фигуры Джима. Это вовсе вздор. Мигглс отступает в тень просто по стыдливости. Она, в сущности, очень стыдлива. А что она бесстыдничала, то это просто живость, бойкость, отвага. В сущности, это девушка *стыдливая*».

Отведя таким образом оговорку, сделанную Бретом Гартом в угоду господствовавшим общественным пред-  
рассудкам, Чернышевский переходит к резкой формулировке своей точки зрения.

«Жаль, — пишет он, — что при грубости общественных обычаев шалости молодости имеют грубый характер. Но не молодёжь установила эти грубые обычаи. Молодёжь только страдает от них, молодёжь бессильная часть общества».

Потому и на кутёж молодых мужчин, и тем более юношей, умные люди смотрят снисходительно. А порицанием, никому в отдельности из юношей, шалости с девушками не служат, если в этих шалостях нет ничего грязного, подлого; например, нет обмана, коварства и жестокости.

Так. Юноши остаются безукоризненны, непорочны, пока остаются честными людьми, добрыми людьми.

Да, так — говорят все неглупые люди.

И я говорю: девушка или молодая женщина — это совершенно то же самое, что юноша. И пускаться в осо-

бенные рассуждения о молодых женщинах неприлично неглупым людям.

И Миггс не менее непорочна, чем самая непорочная барышня».

Чернышевский не случайно говорит здесь о «барышне». Дальше, рассуждая о браках между людьми разного общественного положения и воспитания, он спрашивает: «Годилась ли бы Миггс стать светской дамою?» И отвечает, что «это дело мудрёное». Мудрёное же оно не потому, что Миггс не удовлетворяет требованиям морали, принятой в обществе, в котором она живёт, а потому, что она «простолюдинка», которой в этом обществе ничто не прощается. Чернышевский уже в начале своей характеристики рассказа Брета Гарта пишет, что самый умный и единственный истинно благородный человек в захвавшей к Миггс компании — это «простяк Билл с Юбы», тоже простолудин, как и Миггс. О дамах, выступающих в роли блюстительниц общественной морали, Чернышевский пишет: «Они даже лучше мужчин госпожи «нравственные» женщины. Что это за сволочь обе «медведи проезжие». — Нестерпимая сволочь».

«Дело не о «непорочности» тела ли или сердца», — резюмирует Чернышевский конфликт, изображённый в «Миггс». — Дело лишь о сословии...»

Вот какую «мораль» извлёк Чернышевский из рассказа Брета Гарта. Чернышевский стоял несравнимо выше такого писателя, как Брет Гарт, который дальше несколько смутной критики господствующей социальной морали не шёл, да и не стремился идти. Однако американский писатель создал правдивый и привлекательный образ, который заставлял читателя остро почувствовать ложность господствующих нравственных норм. И Чернышевский спешит это отметить. «Миггс» — рассказ очаровательный своей гуманностью», — пишет Чернышевский.

Чернышевский хорошо видит художественные недостатки Брета Гарта. О том, что он считает «вздором» попытку Гарта апеллировать в защиту Миггс к сентимен-

тальности читателей, уже упоминалось. Касаясь творчества Брета Гарта в целом, он говорит об узости его тематики, которую объясняет скудостью запаса впечатлений писателя, о неровности его таланта и т. д. При всём том его общая положительная оценка Брета Гарта своей серьёзностью и глубиной превосходит оценки американской критики, в которой считается почему-то хорошим литературным тоном относиться к Брету Гарту свысока.

«Сила Брета Гарта в том, — пишет Чернышевский, — что он при всех своих недостатках человек с очень могущественным природным умом, человек необыкновенно благородной души, и — поскольку при недостаточности запаса своих впечатлений и размышлений, понимает вещи, — выработал себе очень благородное понятие о вещах».

Писательская судьба Брета Гарта, как известно, сложилась несчастливо. Он умер полузабытым, растратив в значительной мере свою литературную славу. Похвала великого русского критика, произнесённая из вилюйского заточения, осталась ему неизвестной.

*А. Старцев*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

А. Старцев. Предисловие . . . . .	3
Счастье Ревущего Стана. Перев. Н. Волжиной . . . . .	9
Изгнанники Покер-Флета. Перев. Н. Дарузес . . . . .	25
Млисс. Перев. Н. Дарузес . . . . .	41
Компаньон Тенесси. Перев. Н. Волжиной . . . . .	77
Миггс. Перев. Н. Волжиной . . . . .	91
Браун из Калавераса. Перев. Н. Дарузес . . . . .	107
Илиада Сэнди-Бара. Перев. Н. Волжиной . . . . .	122
Блудный сын мистера Томсона. Перев. Н. Волжиной . . . . .	138
Как Санта Клаус пришёл в Симпсон-Бар. Перев. Н. Дарузес . . . . .	149
Монте-флетская пастораль. Перев. Н. Волжиной . . . . .	170
Наследница. Перев. Н. Волжиной . . . . .	194
Джентльмен из Лапорта. Перев. Н. Дарузес . . . . .	216
Ван-Ли — язычник. Перев. Н. Волжиной . . . . .	234
Случай из жизни мистера Джона Окхэрста. Перев. Н. Волжиной . . . . .	256
Приложение I. Брет Гарт. Стихи. Пер. М. Зенке- вича. . . . .	288
Приложение II. А. Старцев. Чернышевский о Брете Гарте . . . . .	296